

«...я — государственный. Я — помесь казака с евреем,
но государственный по составу крови...»
(Из интервью Л.А. Аннинского)

Лев Александрович появился в моей жизни в 1998 году, когда в Ясной Поляне, Туле, Москве праздновали 170 лет со дня рождения Толстого: выставки, писательские чтения, концерты... Россия тогда, казалось, приближалась к краю существования и многие из нас сопротивлялись гибели, цеплялись за язык, веру, нашу гениальную историю побед и превозмоганий, в мороке расплзающегося бытия стараясь нащупать что-либо прочное перед катастрофой. В череде юбилейных событий в Туле планировалась презентация книги Аннинского «Охота на Льва». Текст этот — расширенный вариант его монографии «Лев Толстой и кинематограф», Аннинский много лет сотрудничал с музеем Толстого в Москве на Пречистенке, там же долго работала его жена Александра Николаевна. Выпускал книгу в своем издательстве «Шар» Игорь Золотов, деньги выделяла Тульская городская управа. Координировали весь процесс авторы идеи издавать в Туле Аннинского — поэт Григорий Вихров и его супруга, педагог-толстовед Евгения Михайловна Брешко-Брешковская. Выпустив дебютную книгу «Разговоры с собой» в 1996, я только входил в литературу, Григорий Вихров первым книгу эту заметил, мы стали общаться. Планируя трансфер Аннинского из Москвы в Тулу, Григорий предложил поехать за критиком на моей машине.

В начале 1990-х я вернулся в родной город после 10 лет учебы в Рязани и медицинской практики под Владимиром, чтобы заняться литературой. Принялся строить здесь писательское убежище, из терапевта переквалифицировался в дерматолога, желая иметь больше времени для работы с текстами. Пытался найти нишу, где мог бы совмещать медицину с литературой — в терапии, кардиологии, хирургии нельзя разбрасываться, вдруг кто-то умрет из-за твоего невнимания, а дерматолог... Можно думать, писать, работать не полный день в медицине, ведь от болезней кожи не умирают. Но на первых порах свободного от медицины времени не появилось, капиталистическая революция вызвала в России эпидемию чесотки, люиса, СПИДа, гепатита С. После советского затишья, когда в стране практически победили тиф, сибирскую язву, чуму, столбняк, туберкулез, холеру, дифтерию, полиомиелит и сифилис, меня вдруг начали осаждать сотни, тысячи страждущих. По далеко не полной статистике в наших краях тогда переболел сифилисом каждый пятый молодой человек-свобода, как обычно, «пришла нагая». На обочинах дорог, в кафе, гостиницах толпилось множество проституток, мальчишки из рабочих семей тогда мечтали стать «крутыми», а некоторые девочки — «путанами»... Ветер в наших головах сквозил чудовищный, Аннинский писал об этом, предостерегая: *«В Библии «свобода» возникает рядом со словами: смерть, рабство, оковы, узы, гнет, иго, ложь, суд,*

вина, кара, мука, тлен, соблазн...» (1). Все эти понятия оказались очень близки 1990-м в России. Многие пострадавшие от соблазна хотели, конечно же, лечиться анонимно, вне стационара, удобными зарубежными препаратами, приходилось везти эти лекарства из Москвы, в аптеках нужных лекарств не было. Медики, как многие русские, российские люди других специальностей, пытались зарабатывать самостоятельно, в больнице платили 30 долларов в месяц, но даже эти скудные деньги подолгу задерживали. Один из моих детских приятелей стал «крутым» и занялся рэкетом, второй организовал охранную фирму, третий сбежал за границу, четвертый погиб от алкоголя и депрессии... Вдобавок начали распространяться наркотики, упала рождаемость, кладбища стали расти с ужасающей быстротой...

Врачи зарабатывали частной практикой, приобретали новомодные специальности. После успеха Чумака и Кашпиоровского мой коллега из Владимира, Паша Касаткин, стал экстрасенсом и отрубал «энергетические хвосты» у посетителей; терапевты лечили гипнозом, иглоукалыванием, наложением рук и бесконтактным массажем; невропатологи увлеклись костоправством и гомеопатией. Я пробовал себя в нескольких сферах, одно время даже бальзамировал умерших, но сражаться за бизнес было некогда, хотелось работать со словом, конкуренты оттеснили меня. Тогда я наладил домашнее хозяйство, завел гусей, кур и козу. Теща и жена возделывали огород и теплицу, доили козу, я заготавливал веники для козы, косил траву, возил продавать в Москву свои яблоки... Но тут началась эпидемия, и мне вдруг удалось купить новую машину, которая сильно изменила жизнь нашей семьи. Старые «Жигули» непрерывно ломались, чинить машины я не умею, поэтому далеко уезжать казалось слишком рискованным. Теперь мы с женой и дочкой исколесили центральную Россию, побывали в храмах и монастырях Козельска, Сергиева Посада, Ельца, Задонска, Воронежа, Дивеева, Переславль-Залесского, Серпухова, Белева, Ростова Великого... Кроме того, я собрал изрядную библиотеку, поехал в Европу, стажировался в Питере, исходил пешком Крым, Кавказ, Мещёру, Дивногорье и многие города очаровавшей меня Украины — Киев, Одессу, Харьков, Львов, Тернополь, Ужгород, Мукачево... Мне хотелось многое знать и видеть, по другому не получалось, «домоседная мудрость недалеко ушла от глупости», нельзя быть литератором, не выезжая из провинции.

Короче говоря, на этой машине мы и везли Аннинского. По дороге из Москвы в Тулу я с наслаждением слушал разговоры сидящих позади меня писателей: это был желанный, удивительный мир больших мыслей, больших людей, большой литературы. Я старался запомнить всё, о чем говорил Аннинские в машине, гостинице, во время организованной для них экскурсии в Спасское-Лутовиново. Аннинский перед этим выпустил книгу «Серебро и чернь» о двенадцати поэтах Серебряного века, меня слово «чернь» в названии смущало. Когда мы проезжали городок Чернь, направляясь в Спасское-Лутовиново, Аннинский бормотал:

— Чернь, Чернь... Ну назовут же... Откуда тут, в провинции, сейчас берется тяга к литературе? Ведь шансов напечататься почти не было!

— Вас родители к этому подталкивали? — интересовалась Александра Николаевна.

— Нет, — отвечал я, — у нас в семье почти не читали. Это как-то само, непонятно откуда, иногда я чувствую себя уродом, отщепенцем в большой семье. У меня врожденная страсть к слову, языку, с детства вожусь с книгами...

— Я тоже дома чувствовала себя уродом, — Александра Николаевна ободрила меня. — Я даже внешне была не похожа на родителей и это меня тревожило. Одно время думала, что я — подкидыш...

— Мы все здесь подкидыши... Что-то есть за видимым миром, чего мы не знаем, о чем православным нельзя говорить, нам вообще запрещено это исследовать, — я пытался сформулировать давно обдуманное. —

Очень многое Иисус не успел сказать, или не захотел, у Него миссия была другая, Его бы тогда не поняли... Попробуй, объясни людям две тысячи лет назад, что такое Вселенная, галактика, большой взрыв, звездные системы с обитаемыми планетами, черная материя, квантовые переходы, телепортация, клонирование, ноосфера, геномное моделирование, ДНК...

— Кстати, Иисус действительно приходил, — сказала Александра Николаевна. — В Израиле нашли кумранские рукописи, там говорится об Иисусе как о реальном человеке...

Аннинский задумчиво слушал нас, глядел на чернские поля, иногда отзывался своим мыслям, взрывался ассоциациями. Я же старался прояснить значение слова «чернь» в его книге:

— Лев Александрович, зачем слово «чернь» у вас в книге? Чернец, черная работа, черновик? Чернь как низовой народ? Чернение серебра? Время тогда вычернило серебро нашей культуры? Я думаю, нашу Чернь потому так называли, что здесь начинаются черноземы, которые дальше тянутся на юг. Толстой, Фет, Лесков, Тургенев, Розанов, Бунин — они выросли из этого чернозема... И они не были провинциалами! Сейчас жизнь выстроена по-другому, и потому здесь Льву Толстому больше не появиться. В СССР его бы упекали в психушку или посадили, а в современной России он бы наложил на себя руки... Для существования Толстого нужен был такой царь, как Николай Второй, который позволял гениям, вообще интеллигенции, думать вразнос. Но интеллигентный царь не удержал страну...

Позже я вычитал в интервью с Аннинским тревожащее меня его отношение к провинции: *«Соотношение Москвы и провинции? Провинциальность — это главное качество прибывающих в Москву. Они лихорадочно освобождаются от своей провинциальности и становятся гражданами мегаполиса — энергичными, резкими, конкурентоспособными. А национальное сознание продолжает гнездиться, как всегда — в провинции. Это кроветворные органы любой нации — старики, бабки; молодые девки, которым некуда, да и нет сил ехать — и они рожают там; рожают черт знает кого — а иногда великих писателей, которые из Нежина приезжают в Петербург... Так что никакого высокомерного отношения к провинциалам у меня нет — есть спокойное нежелание слушать тех, кто кричит, что он стал столичным жителем. Когда я приезжаю в какой-то российский город и беседую, мне интереснее обсуждать русские проблемы в провинции, нежели в высокомерных московских тусовках...»* (3)

По возвращению из Спасского Аннинский подарил мне книгу «Серебро и чернь», я нашел в предисловии объяснение: *«...«серебро» — лишь одна и, так сказать, наносная краска на лице этого времени. Само оно метит себя иначе: в противовес белому — красным. Но если идти под слои краски вглубь, так надо было бы его назвать черным... Поразительная плотность великих имен... Страна, их породившая, оставившая им в наследие великую культуру, давшая им ощущение мировой миссии и великой задачи, на их глазах испепеляется в ничто. На ее месте возникает черная воронка, бездна, небыть, и оттуда встает нечно «обернутое», «зазеркальное», в чем их страну им узнать невозможно. Но и не узнать — невозможно. Исчезновение, перерождение и возрождение духовной родины есть драма, о которой они свидетельствуют. Этот сюжет страшен. Но только такие драмы способны вызвать к жизни великую поэзию...»*.(6)

Через несколько дней я доставил Аннинских из Тулы в Москву, он пригласил меня бывать на занятиях в Калашном переулке, где расположен «Институт журналистики и литературного творчества». Какое-то время Лев Александрович присматривался ко мне, затем попросил привезти книгу. Весной 1999 внезапно позвонил и сказал, что цитаты из моих «Разговоров с собой» опубликованы им в журнале «Время и мы» (№141 за 1999), мне полагается гонорар в долларах.

Нечего и говорить о моем тогдашнем состоянии, я ни на что такое не рассчитывал. Я не знал журнала «Время и мы», не понимал, кто опубликован рядом (Джордж Сорос, Дмитрий Быков, Игорь Золотусский), не слышал про Перельмана, был предельно далек от разделения писателей на патриотов и либералов. Я понял только, что Аннинский приглашает меня в мир литературы, это стало для меня громадным потрясением. Сейчас, конечно, я навел справки. Журнал «Время и мы» издавался с 1975 по 1981 ежемесячно в Тель-Авиве, с 1981 года он выходил в Нью-Йорке, распространялся в США, Израиле, Франции, последние номера — в Москве. Всего получилось 143 книжки, в них впервые опубликовали роман Александра Галича «Блошинный рынок», «Поэму существования» Наума Коржавина, «Соло на ундервуде» Сергея Довлатова, многие тексты Эдуарда Лимонова... Учредитель и редактор журнала Виктор Перельман когда-то работал в СССР на радио, в газете «Труд», «Литературной газете». В 1973 он эмигрировал в Израиль, с 1981 жил в США. Создавать журнал ему помогали Дора Штурман в Израиле, Ефим Эткинд во Франции, Лев Аннинский и Юрий Кувалдин в России. В 1998 Перельмана сразил инсульт, он искал, кому бы передать дело, на роль преемника выбрал Аннинского. Лев Александрович летал к нему в Нью-Йорк на переговоры. Деньги на издание, в последний год существования журнала, мне кажется, в основном давал Сорос, он тогда щедро финансировал университеты, библиотеки, журналы, музеи России, был у нас на хорошем счету, в сотрудничестве с ним российская интеллигенция не видела ничего зазорного. Как я понял, Аннинский с радостью взялся за редакторскую работу, опубликовал в №141 своих друзей и знакомых, а после начались затруднения. Похоже, кто-то из спонсоров журнала стал диктовать «направление», а Лев Александрович всегда был независимым человеком. Аннинский тут же, с легким сердцем, передал журнал всеядному Юрию Кувалдину, зачем-то оставив свое имя в графе «главный редактор» — наверное, это было нужно для авторитета издания. Кувалдин сделал два выпуска и, как ему было свойственно, свалился в упрощение. В номере 143 за 1999 на обложке появились символические развалины России с лежащими вокруг черепами, сверху на обложке поместили золотник кесаря, внутри — русофобское интервью с Альфредом Кохом («Обанкротившаяся страна»), где в ответ на вопросы интервьюера Кох истерил:

«— Как вы прогнозируете экономическое будущее России?

— Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле — копать), которые только изобретать умеют. Далее — развал, превращение в десяток маленьких государств... Россия никому не нужна, не нужна Россия никому, как вы не поймете!... Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна...»(2)

Интервью вызвало возмущение в обществе, ударило по Аннинскому, он перестал сотрудничать с журналом. Кувалдин тоже ретировался с тонущего корабля, взялся делать собственный журнальный проект «Наша улица», проживший четыре года. Я принялся издавать свободный от политики альманах «Тула», которому теперь уже 20 лет. В «обанкротившейся стране» сменилась власть, кто-то начал взрывать жилые дома в Москве и Волгодонске, разгорелась вторая чеченская война, распад России на десяток маленьких государств не состоялся.

Аннинский не одного меня ввел в литературу, Дмитрий Быков на радио так об этом высказался: *«День, когда он написал обо мне, отрецензировав мой сборник, был для меня днем попадания в литературу. Потому что пока о тебе не написал Аннинский, тебя как бы не существует. Ты попал в его поле зрения — и тем самым как-то увековечился. Вот как люди ценили его отзыв. Не говоря уже о его доброжелательности, о его априорном интересе к человеку. ...Читать я его начал чуть ли не в 10 лет, потому что дома выписывали «Литературку». Евгений Богат, Лев Аннинский, Алла Латынина — это были такие почти члены*

семьи... меня поработила его творческая манера. «Лев Толстой и кинематограф» абсолютно перевернули мою стилистику... я увидел субъективную, живую критику, автор которой не брезгует деталями из личного опыта, эссеистикой... жажда эссеизма в критике, личных отступлений, прихотливых, пристрастных — это очень хорошая вещь. Розановская литературная критика, и розановские эссе... были мне противноваты. Как-то от этого пахнет. Но Аннинский никогда не скрывал, что он учился у Розанова. Его эта субъективность и фрагментарность, наоборот, прельщала... Аннинский поразил меня остротой своего зрения, остротой своей речи. Он до последних дней поражал меня памятьностью и мгновенным попаданием в тему разговора... Аннинский был пристрастен и субъективен, но он умел чувствовать нерв проблемы... если в критике кому-то наследую, у кого-то учился, то заочно у Писарева, а очно — у Аннинского. Собственно, целыми блоками из него я до сих пор иногда пишу и разговариваю... Писарев — это лучший русский критик, и я считаю, что Аннинский был прямым его наследником...»(7)

Измученный медициной, все же понимая, что учебу надо непременно выдержать, ездил я на лекции Аннинского в Институт журналистики и литературного творчества, слушал там Аннинского — «Все дело в слове, и все дело в книге... в книге таится секрет того, что с нами происходит. Слово — концентрат невиданной силы... Русские — народ книги», — Владимира Микушевича, Игоря Волгина, смотрел на космополитичную молодежь: что-то меня раздражало и отталкивало, что-то я принимал к сведению. В кулуарах Аннинский называл это заведение «Бежин луг», ведь его организовал известный прозаик Леонид Бежин. Гораздо более важным для меня оказалось непосредственное общение со Львом Александровичем и Александрой Николаевной, я изредка навещал их дома. Я не навязывался, просто Аннинские иногда нуждались в моей врачебной помощи. С писателями Аннинский не любил сближаться, говорил, что ему не интересны особи, индивиды, ведь «существует три уровня бытия — особь, индивид и личность. Особь — биологический уровень. Индивид — «то, что функционирует, крутится в своей системе». А личность — это когда человеческая песчинка говорит с Богом». (3) Приятельское общение подразумевает контакт с особью, индивидом, Аннинскому же интереснее была личность, а она в книгах.

Но я писателем на тот момент не являлся и потому наблюдал Аннинских с близкого расстояния. Каждая минута общения с ними значила для меня очень много. Лев Александрович имел феноменальную эрудицию, очень широкий взгляд на происходящее, Александра Николаевна привлекала меня удивительной добротой. Она учила меня правильно вести себя за столом, правильно говорить, правильно относиться к людям — прежде всего отдавать себя, не думая о возврате. Я много думал об истоках её характера: она такая потому, что её воспитывали дворяне или оттого, что её и Аннинского пестовала блестящая среда московской интеллигенции? После я понял, доброта и способность любить — дар Божий, тайна, это не одним воспитанием дается, хотя воспитание тоже важно. Помимо прочего, в лице Аннинских я прикоснулся к прошлому — к отголоскам царской империи с её дворянством, крестьянством и чертой оседлости, к России Сталина и Хрущева, вдруг ощутив себя маленьким звеном в непрерывной цепи русской истории. Эту цепь пытались разорвать в советское время, но тогда, в начале 2000-х, на глазах звенья срастались, моя душа болела и звенела от совершаемой подспудной работы, эти переживания оказались одними из самых ярких и важных в моей жизни.

Глядя на Льва Александровича с близкого расстояния, стремительно набираясь знаний, я окончательно понял, кто он: не только литературный критик, но ещё и независимый крупный мыслитель, философ, социолог, культуролог, прозаик. Он только маскировался под литературного критика, на самом деле при Ельцине критика почти умерла. Оставались

на виду только Аннинский, Курбатов и Золотусский, ведь они были ещё и блестящими публицистами, философами, толкователями жизни, мудрецами.

Аннинский продолжал немного зарабатывать этим, к нему в то время обращались десятки людей с предложением подготовить вступительную статью к их книге, он мало кому отказывал, часто писал бесплатно. Всего за жизнь Лев Александрович создал более 5 000 разных статей, в том числе вступительные тексты к самопальным изданиям никому не известных авторов. При этом он умудрялся оставаться корректным по отношению к маленькому писателю. Владимир Бондаренко как-то сказал, что Аннинский «снимает голову с автора, но делает это так, что тот при этом улыбается, неся свою окровавленную голову в руках». На самом деле Аннинский никого не ругал и не хвалил, чужие тексты становились для него поводом написать свое. Он говорил в интервью: *«Мне не важно качество текста, мне важно состояние художника... мне нравится, что чужой текст высекает из меня искры, вызывает у меня мысли: «Я пишу — и мне является». Перестану писать — перестанет являться»...*

(3) По состоянию даже небольшого художника он ставил диагноз времени, обществу и размышлял над сложнейшими вопросами современности. Он всегда говорил о главном — о смысле жизни, о смерти, о том, куда мы идем и что нам угрожает... В отношении себя он был предельно честен: *«На западный манер меня литературоведом считать нельзя — но читать-то можно! ... То есть я пишу о тексте и попытку могу объяснить читателю, что хорошо, что плохо, — я этому пять лет учился в университете. Я могу объяснить и писателю, где он сбрекнул, где нет... но я пишу не писателю, не автору — самому себе, Богу, кому угодно, кто захочет меня прочесть... Это не критика, эссеистика, самые умные писатели соображают, что я не о них пишу, и не пристают ко мне... Бондаренко как-то сказал, что писатели, о которых Аннинский написал, «радуются, идут и улыбаются отрубленными головами»... Я не специально рублю ваши головы — я своим делом занимаюсь...»(3)*

Да, он писал не критику, а философские эссе. Прекрасно знал Библию, тексты Достоевского, Толстого, Писарева, Лескова, Белинского, Бердяева, Розанова, Шестова, Федотова — и продолжал их философские поиски. Круг интересов у него был поразительный. После первой книги «Ядро ореха» (1965) появились «Обрученный с идеей» (1971), «Василий Шукшин» (1976), «Тридцатые-семидесятые» (1977), «Лев Толстой и кинематограф» (1980, 1998), «Контакты» (1982), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Михаил Луконин» (1982), «Николай Губенко» (1986), «Три еретика. Повести о Писемском, Мельникове-Печерском, Лескове» (1988), «Отлетающий занавес» (1990), «Серебро и чернь. Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века» (1997), «Барды» (1999), «Билет в рай. Размышления у театральных подъездов» (1989), «Локти и крылья» (1989), «Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не ставший историей» (1991), «Крепости и плацдармы Георгия Владимова» (2001), «Русские плюс» (2001, 2005), «Красный век» (2004), «Архипелаг гуляк» (2005), «Родная нетовщина» (2008), «Распад ядра» (2009), «Откровение и сокровение» (2015)... Три десятка книг, в которых он высказал множество интересных мыслей — например, о том, что революция 1917 — это прежде всего последствие войны, начавшейся в 1914; что русская литература — блестящий «коррелят» жизни Российской империи, СССР: сначала в творчестве Пушкина и Толстого равновесие личного и государственного, затем личность начинает бороться с государством и пророчит ему гибель (Достоевский, Блок), в сталинском СССР личность растворяется в государственном, а после его смерти срывается в яростный бунт против подавления ее государством (Платонов, Солженицын, Шаламов); что взаимоотношение государства с писателем имеет и героическую, и тварную природу... Собственно говоря, большие мысли Аннинского можно перечислять часами.

При своей литературной значимости жил он скромно, почти как Диоген в бочке — в небольшой кооперативной квартирке на Удальцова. Мне казалось, ему в принципе не нужны заграничная недвижимость, машины, дачи, антиквариат, модная одежда, деликатесы, коллекционные вина и коньяки, охотничьи ружья и собаки... Некогда этим заниматься! Аннинскому требовались только мысли, друзья, книги, жена и дочери. Он, как йог, отказавшись от ложных ценностей, стоял на голове в сумасшедшем, жестоком, расчетливом мире, умудряясь сохранять комфортное равновесие. Я не уставал поражаться ему, много раз приходил к выводу — наш мир и сохраняется потому, что среди властолюбия, корыстолюбия, жестокости, необузданной тяги к достатку и удовольствиям, в нем есть такие вот мудрецы, православные старцы, еврейские учителя, мусульманские дервиши... Рядом с тысячами Карабасов Барабасов, устраивающими из общества кровавый театр, то и дело кричащими: «Никакой жалости! Цыпленок должен быть изжарен! Полезай в очаг!», — Аннинский был тем веселым Буратино, который из любопытства сует свой нос в очаг жизни, протыкая в нем спасительную дырку... В эти дыры проникало много свежего воздуха.

Он часто был весел и почти всегда доброжелателен, разговаривая с близкими ему народами как со своими детьми. Кого он считал своими? Русских, евреев, поляков, белорусов, татар, чувашей, якутов, башкир... С украинцами сложнее, у него была хорошая память, украинские самостийщики убили его бабушку во время погромов. Немцев он тоже недолюбливал по известным причинам: *«Я тоже — дитя войны. И тоже потерял родных: отца — на советско-германском фронте, родственников — в душегубке. Немцы вошли в мою жизнь как знак смерти. Я был обречен всю жизнь мучительно освобождаться от этого ужаса... я не мог объяснить себе, как народ, давший миру Бетховена, породил эсэсовцев...»*(4)

Вообще, моя любимая книга Аннинского — «Русские плюс» (2001, 2005). В ней он перестает говорить эзоповым языком 1970-х, начиная изъясняться прямым кровоточащим текстом: наша страна на краю гибели; идеалы, за которые боролись шестидесятники, преданы и внутри страны и за её пределами; его время уходит, он хочет многое сказать напоследок: *«...Мое время минует, мое государство в руинах, мои идеалы попораны, мой народ оскорблен и стерженеет, и сам я себе все более кажусь реликтом...»*(4) Перед возможной гибелью любимой страны, а эта гибель была запланирована — мы удержались от разделения и соскальзывания в ад гражданской войны в последний момент, — он проговорил небывалое для него, как будто бы атеиста: *«Чем же нам удержаться? И ещё более страшный вопрос: надо ли удерживаться в этом скольжении? Были до нас люди, будут и после нас... Так вот: нет такого вопроса для меня. Надо держаться... независимо от всяких к тому оснований. Мы сами и есть «основание». Надо уметь держать имя перед Господом... Имени жалко, Господи. Пушкина жалко, Толстого. Общего дела жалко, в которое вколотили себя люди, ставшие русскими... Мировая задача, на которую не хватило сил? Кто подберет наше имя, если мы его уроним? Смотрите правде в глаза: это будет другой народ. Кому «все равно», тому и жалеть не о чем. Мне — не «все равно». Я не хочу, чтобы имя было поднято «кем-то»...»*(4)

Чтобы поднять дух русских сродников он, еврей по матери, вдруг заговорил о нашем крестном пути, оправдывая коммунизм: *«Нет у истории ошибочных глав, а есть сплошной крестный путь, где все шаги смертельно опасны... Еще неизвестно, каким мутантам повезет выжить в этой свалке, может, и нашим внукам. Деды выжили дорогой ценой — ценой «коммунизма». Естественно, военного, потому что невоенного коммунизма не было в природе. Так еще бы меж мировыми войнами и не принять «коммунизм» в противовес тевтонскому «кулаку», и «нацизму», и «фашизму» — растопыренной рукой не дерутся...»*

(4) Он и партию, то есть КПСС, оправдывал: «Партия, между прочим, действительно была квинтэссенцией народных качеств, как плохих, так и хороших... Партия делала то, на что был способен и чего так или иначе хотел народ. Народ писал доносы — она сажала. Народ был в озверении — она казнила. Народ стал оттаивать — она заговорила о «законности», о «коллективном разуме», о «разрядке...»(4)

Аннинский в те годы лихорадочно искал рецепт, как нам выжить, спасти хотя бы русскую культуру: «Никакими усилиями «писателей» и «музыкантов» вообще не спасешь культуру, если народ не вернется к делу. Если русские не возродятся — и не дай Бог как народ воюющий, а как народ работающий... если не будут шататься по улицам толпы молодых людей в клубах мата, а будут искать себе работы; если стоики, сутками проводящие в очередях, захотят не стоять насмерть, а что-то производить... Культура рождается из образа жизни — «писатели» и «музыканты» её только фиксируют... Шок бездействия поставил все на грань распада. Пустая земля. Переполненные очередями города... Чего нас жалеть, если мы сами не хотим спасения?»(4)

И ещё одно его замечание я не забуду никогда: «...у человека всегда есть возможность сделать меньше зла, чем его заставляют обстоятельства. На волосок — но меньше. Пусть это не переменит общего фатального хода событий, но это поможет душе удержаться...»(4)

Некоторые про Аннинского говорили: «У него нет принципов!» Я свидетельствую, у него принципы были, только другие, нежели у судящих. Он печатался одновременно и в «Завтра», и у либералов не оттого, что «лишь бы опубликоваться», а потому, что у нас всех, живущих здесь, в России, общая судьба, у многих есть общие предки, почему мы должны разделяться по воюющим лагерям? Человеческое важнее политического — вот его принцип! Именно поэтому Аннинский не прибывался ни к русскому, ни к еврейскому берегу. Он и при Советах так делал, бежал из всех лагерей, притворяясь непонимающим: «Я все время притворяюсь, что я притворяюсь. И теперь это делаю. Нет цензуры, всё позволено, но перед всеобщей человеческой глупостью надо притворяться. Как скорморох я делаю вид, что вру...»(3) Он порой как будто шутил, на самом деле старался говорить правду. Да, он слегка менял свои убеждения со временем, но главное не менялось: «...я дразнил тех и этих, потому что меня корбила тупая вражда левых-правых, их высокомерное взаимоотношение, и вообще русское раскольничество, которое я считаю фатальным безумием моего народа...»(3) Я с ним согласен, русское разделение — коллективное безумие! Евреи спасительно держатся вместе, несмотря на политические разногласия. Мы же опрометчиво продолжаем сохранять психологию большого народа, хотя давно превратились в малый, в сравнении с народами Китая, Индии, США, объединенной Европы... Надо воевать за душу каждого человека, мы же растлеваем тысячи молодых людей фальшивыми ценностями, погоней за бездумным благополучием, да ещё губим их в тюрьмах, борделях, чиновных кабинетах, телевизионных студиях...

Что меня всегда удивляло в Аннинском — его настойчивые декларации атеизма. Это был ещё один его принцип. Иногда он в текстах проговаривался о Господе, но чаще рассуждал о бессмыслице существования: «...я воспитан атеистами. И отец, и дед атеисты. Когда я был комсомольцем, нам не следовало ходить в церковь. Но я ходил. Правда, вот перекреститься никогда не мог... Но есть такая прекрасная формула, которую мне подсказал Сергей Петрович Капица: русский православный атеист... я так про себя говорю... Можно верить в Аллаха, в Христа, в Будду, но музыка будет одна, единая музыка, которая приоткрывает смысл в полной бессмыслице животного существования. Мы же полуживотные и живем как полуживотные. Человек придумывает много способов в себе зверя укротить, но зверь остается... Для меня музыка тек-

ста — путь, чтобы примириться с тем, что личность смертна, что смысла не будет, что человека нельзя улучшить... Это главный итог моей жизни — потеря веры в то, что человека можно улучшить...»(3)

Но этот вывод стал для него очевиден лишь в конце жизни. В молодости, зрелости он деятельно надеялся человека преобразовать, казался на этом пути радостным, часто счастливым. В многочисленных интервью он подтверждал: *«Я счастлив по определению, то есть по природе. Проблема в другом. Как сделать, чтобы и около меня люди были счастливы? Не получается... И главное: как сделать, чтобы мой народ был счастлив? Не получается, не получается...»(3)* Как-то я спросил его, понимал он в молодости, что живет в страшном времени — в «культуре личности»? Он смеялся: *«Нет, просто был счастлив, как и сейчас! Я же не знал, что я «винтик!»* Он говорил, что время было страшное, но в том страшном времени почему-то жили самые счастливые люди... Я после долго ломал голову над этим парадоксом. И ещё он мне сказал — когда заглядывал в церкви, у него возникало непостижимое, всепоглощающее чувство счастья, причем в любой христианской церкви: в православной, католической, протестантской... При этом он так и не крестился, хотя Христос явно звал его. В синагогу, кажется, тоже не ходил, но Ветхий Завет знал прекрасно.

Чтобы лучше понимать учителя, мне пришлось составить для себя его короткое жизнеописание, многое опуская. Получилось вот что: отец Льва Александровича был сыном учителя из донской станицы Новоаннинской, деда-учителя звали очень по-русски — Иван Иванов. Деда раскулачили, об этом стало известно Шолохову, писатель жаловался Сталину на злоупотребления в донских станицах, приводил в пример раскулаченного учителя Иванова. Сталин в статье «Головокружение от успехов», не называя фамилии, тоже сказал о деду Аннинского, как о факте ошибочного раскулачивания. Ивана Иванова тут же восстановили в правах, но испуганный и уязвленный, он сбежал из станицы «от греха подальше» к родственникам в Новочеркасск, дети Иванова разъехались по крупным городам. Отец Аннинского — Александр Иванович Иванов, — подался в Москву. Сначала был студентом, затем политрабником, преподавателем в техникуме, институте. Артист самодеятельных театров, ловелас и повеса, он жил сразу с несколькими женщинами, одной из которых стала будущая мать Льва Александровича. Хана Соломоновна Александрова девочкой сбежала к брату в Москву из Житомира, Чернигова, Киева, спасаясь от еврейских погромов. Александр Иванов включил её в свой гарем, рассредоточенный на местности, детей поначалу не хотел, слишком любил свободу, говорил Хане: «Я не муж по своей природе». Мобильность у людей уже тогда была поразительной, страна кипела после революции, отец Льва Александровича на время уехал из Москвы, преподавал обществоведение в техникуме Таганрога, затем политэкономии в медицинском институте Ростова-на-Дону. За ним ездили его любимые женщины, иногда он следовал за ними. В Ростове-на-Дону и родился маленький Лева. Отец Аннинского параллельно с политэкономией занимался в мединституте Ростова-на-Дону культмассовым сектором, вступил в партию, напряженно занимался самообразованием. Читал Цвейга, Ремарка, Ницше, Талмуд и Библию, ездил к отцу в Новочеркасск, мечтал работать в искусстве. Когда в институте начались партийные чистки, он вернулся в Москву, устроился работать на «Мосфильм», где фамилия Иванов казалась не слишком презентабельной, он и придумал сделать к ней приставку Аннинский, по названию родовой станицы. Хана Соломоновна тоже вернулась с сыном в Москву, работала в кафе судомойкой, позднее преподавала химию в техникуме. Александр Иванов-Аннинский был «приходящим папой», он руководил на «Мосфильме» актерским отделом, поэтому Хана Соломоновна и Лева жили в мосфильмовской квартире. Лева ходил в мосфильмовский детсад, в 1939 туда нагрянула режиссер Лукашевич, снимавшая фильм

«Подкидывш». Обаятельного Лёву выбрали на одну из ролей, он произнес перед камерой текст маленького патриота, сочиненный Агнией Барто:

— *Танкистом я могу быть?*

— *Нет, ты еще маленький.*

— *А милиционером я могу быть?*

— *Нет, ты ещё маленький...*

— *Ну, хоть пограничной собакой я могу быть?*

— *Пограничной собакой — можешь...*»

По воспоминаниям Льва Александровича, его отец был «всегда весел и этим околдовывал». (4) Он любил дурачиться с маленьким Лёвой, творческие люди часто этим занимаются, это приводило сына, обладающего врожденной интеллигентностью, «в восторг и смущение». (4) Один из эпизодов общения:

— *Отец как-то спросил грозно:*

— *Я вот сейчас тебе ухо отрежу и на задницу пришью, что ты будешь делать?*

...*Я думал, как мне избежать слова «задница»... Вздохнув я ответил:*

— *Буду слушать попой...*

Громоподобный хохот привел меня в полное смущение»(4).

Маленький Лёва называл своего веселого и беспечного отца попросту — Сашей. Когда началась война, Лёве было 7 лет, Саша ушел на фронт добровольцем. Когда прощался, мать выпустила из клетки домашнего щегла, сказав: «Ну, вот, Лёсик, у нас в это утро два добровольца», — и с воем упала отцу на грудь. Лёсик с мамой уехали эвакуироваться в Свердловск, отец, как поначалу считала мать, погиб 8 июля 1941 на минном поле в лесу на полпути из Идрицы в Невель, через одиннадцать дней после ухода добровольцем, так и не успев повоевать. В 1943 мать и Лёсик вернулись в Москву. Дом их был вымазан черными полосами для маскировки, девушки в гимнастерках носили туда-сюда привязанные к веревкам аэроостаты. В квартирах на верхних этажах сидели зенитчики. (Наша самоизоляция от коронавируса — такие мелочи по сравнению с войной.) Лёву отец успел «записать» в школу на Потылихе, но мать вскоре перевела сына в «хорошую школу», где преподавали английский и латынь. Лёва рос мечтательным и рассеянным, обычную жизнь воспринимал как «мерзость», его мировоззрение складывалось под влиянием книг, в школе за это дразнили, во дворе ему дали кличку — «Придурочный». Он с детства шутливостью прикрывал свою духовную обособленность. «Впоследствии эта маска заметно облегчила мне работу литературного критика». (3)

Во дворе мальчишки «мерзости жизни обсуждали с особым вкусом, однако всё это существовало для меня в какой-то другой реальности... словно этого нет вообще. А если есть — то вне меня. Без меня... Мерзость — это реальность. Реальность — это мерзость. Она к тебе липнет, требует в ней соучастия... Не реагировать. Ничего не брать, не давать, не обещать...» (3) Так и выжила душа. Тем и спасся.

К шестому классу Лёва начал чувствовать литературу: «Первый текст, который произвел на меня впечатление? В шестом классе нам задали прочитать вслух «Песнь о вещем Олеге»... Я пришел домой, взял хрестоматию, начал читать. Вдруг что-то стало колотить меня изнутри... Так я впервые получил поэзию в мою душу...» (3) Он был околдован, увлечен словом, его великолепная голова требовала больших мыслей, ещё в школе он стал читать Канта, Гегеля, Бердяева, Шестова, Розанова, Булгакова, Федорова, Федотова, Писарева... Окончил школу с золотой медалью, поступил в МГУ на филологический: «Пять университетских лет — счастливое время... меня тянуло заняться современной советской литературой... и я выбирал соответствующие спецкурсы и семинары. Настоящая, классическая филология осталась для меня упущенной, пришлось потом добирать... профессора Сергей Иванович Радциг и Роман Михайлович Самарин. Первый с глазами, в которых стояли слезы,

пел нам с кафедры по-гречески «Илиаду» в подлиннике. Второй читал западноевропейское Средневековье с рыцарским темпериментом... Назову и аспиранта Андрея Синявского... из преподавателей Либана... Мы, студент, учились друг у друга. Мои друзья тех лет: Леонид Козлов, ныне авторитетнейший киновед... Хуан Кабо, ныне журналист-международник... Игорь Мельчук, ныне светило мировой лингвистики... Были и старшие по курсам... Это Петр Палиевский... Вадим Кожин... Юрий Суворцев — в «Литературную газету» я попал с его легкой руки и под его тяжелую руку. Дипломную работу я писал о «Жизни Клима Самгина» и шастал по горьковскому роману, как мышь по амбару... Профессор Метченко настоял на том, чтобы меня распределили в аспирантуру... Экзамены в аспирантуру я сдал, но приказом министерства все это было аннулировано из-за событий 1956 года в Венгрии, и выпорхнул я из университета в нормальную безработицу...»(3)

В ЦК КПСС после восстания в Будапеште решили, что теперь аспирантами будут лишь те, кто успел поработать на производстве. Аннинского «по знакомству»(3) устроили в журнал «Советский Союз», где он делал подписи к фотографиям, но через полгода уволили за «профессиональную непригодность» (3), ему ничего не оставалось как пойти в «литподенишки»(3). Первая его публикация — в газете МГУ, рецензия на гремевший тогда роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». После журнала «Советский Союз» Аннинский работал некоторое время в «Литературной газете» (1957-1960). Фадеева, Суркова, Ермилова, Симонова, Кочетова на посту главного редактора в это время сменил Смирнов, который подбирал авторов под себя, приняв на работу Сарнова, Рассадина, Окуджаву... Завотделом критики Алексеев какое-то время пытался удерживать кочетовский курс, но вскоре тогдашние либералы окончательно отвоевали газету, Алексеева сменил Бондарев, на тот момент отчаянный либерал из когорты фронтовиков-лейтенантов. Аннинский впитывал их свободные взгляды, параллельно печатался в «Новом мире» и «Октябре»: «...я втянулся в новомировскую мечтательность... сначала мне заказали там рецензию на роман «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Я написал, напечатали. Я себя почувствовал автором «Нового мира». И тут Лакшин, руководивший там критикой, ка-а-к меня рубанул! И я больше туда не ходил. Какое-то время я печатался в «Октябре», но там считали, что я не боец, и правильно! Я обожал строчку Александра Межирова: «Не превращай поэзию в оружие. Она в другом участвует бою». Я понял: что ни сделаю, как ни поступлю, все равно подумают плохо. И решил брать пример с Карамзина, который вообще не реагировал ни на какие нападки. И я стал печататься в «Знамени»...»(3)

Журнал «Знамя» организовали в 1931, задумывался он как издание Литобъединения Красной Армии и Флота, но с 1934 по 1990 журнал был органом Союза писателей СССР, в нём публиковались тексты Платонова, Тынянова, Твардовского, Виктора Некрасова, Казакова, Трифонова, Астафьева, Шаламова... Когда в 1986 туда пришел главным редактором Бакланов, «Знамя» ориентировалось на Окуджаву, Искандера, Петрушевскую, Маканина, Владимова, Аксенова, Войновича, «отстаивая идеалы демократии и либерализма». В 1949 Вишневского сняли с поста главлреда за критический отдел журнала — там, по мнению ЦК КПСС, оказалось чересчур много нерусских фамилий, а в СССР разворачивалась борьба с «космополитами». Партийным идеологам не понравилась ещё и проза Казакевича «Двое в степи». Но «Знамя» в тот период публиковало ещё и «Русский лес» Леонова, ранние рассказы Нагибина, «Рождение моря» Паустовского. После смерти Сталина именно в «Знамени» опубликовали повесть Эренбурга «Оттепель», давшую название целому этапу в жизни страны. С редакцией «Знамени» связана масштабная дискуссия вокруг романа Дудинцева «Не хлебом единым», страсти вокруг «Доктора Живаго», арест романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Стихи Пастернака из «Доктора Живаго» опубликованы в «Знамени» в 1954,

драма с романом Гроссмана развивалась буквально в стенах редакции. Поэтому приход Аннинского в «Знамя» был вполне логичен, Аннинский прижился там, но в сентябре 1965 арестовали Синявского и Даниэля. В 1966 Аннинский подписал письмо в их защиту и был вынужден уйти из журнала. С 1968 по 1972 Аннинский готовил статьи для «Института конкретных социологических исследований» АН СССР, в 1972 ему повезло устроиться в журнал «Дружба народов». Синявского он считал своим учителем: *«Мы познакомилась с Андреем Донатовичем Синявским в университете... Он любил хмыкать, делать характерное «Хм, хм». И после одна эстонская критикесса сказала мне: «О чем бы ты ни писал, ощущение, будто ты делаешь так: «Хм, хм...» Это Синявский привил мне эту интонацию. Как бы дал понять: все, что пишется — «левое», «правое», — это на фоне человеческой природы всего лишь «хм, хм...»(3)*

Но это пришло не сразу. Когда в 1957 Аннинский пришел в «Литературную газету», ему исполнилось всего 23 года. Ему сказали, что пока он «слишком еще мокроносый»(3), поэтому республик ему доверить не могут, разве что бесппроблемную Молдавию, но ещё лучше, если он займется национальными автономиями. Лев Александрович стал читать произведения чувашей, удмуртов, татар, постепенно сроднился с ними, полетел в Башкирию к Мустаю Кариму, затем на съезд писателей в Татарстан... У кого учился после университета? Много у кого, например *«... прочел Писарева. Ванда! Всё наперекосяк. Я был в восторге. Можешь делать все что угодно. Употребляй кого хочешь. Главное, говори то, что в эту секунду думаешь... Музыка — то, в чем выражается главное. А главное — это бытие в трагически бессмысленной реальности. А чтобы она обрела смысл, его нужно каждую секунду вылавливать, верить, что он есть...»* (Интервью газете «Дело». СПб. 2007).

Однажды Лев Александрович в «Литературке» опростоволохился, написал Мандельштаму слова Ходасевича («Привил-таки классическую розу советскому дичку»), текст затем был опубликована в Париже в «Русской мысли», в редакцию пошла письма — мол, *«что же вы безграмотного дурака печатаете, он же не может различить, где Ходасевич и где Мандельштам».*(3)

Но не одними текстами, конечно, жил Аннинский. В 1957-м, вскоре после окончания университета, Лев Александрович женился на Шурочке, то есть Александре Николаевне Коробовой. Познакомились они в 1956-м в студенческом туристическом походе, точнее, в агитационной бригаде, Аннинский был руководителем группы: *«Лёва... Лёсик Аннинский, наш начальник, наш руководитель, простой, весёлый и неожиданно родной мальчишка, всегда бодрый, деятельный, находчивый... я почувствовала сразу, что меня тянет к этому человеку ...утром, после завтрака, грузились и уезжали на новое место. Там разбрелись: художники — рисовать, агитаторы — проводить беседы... остальные устраивали веши и репетировали... потом концерт... я с ужасом ожидала возвращения в Москву и открыто говорила всем, как я счастлива... Я чувствовала, что мне все время хочется быть рядом с Аннинским, поэтому спать я улеглась около него. Было ужасно тесно. Сквозь сон я все время старалась отодвинуть от своего лица его волосы, но они все время разлетались от моего дыхания и щекотали глаза...»(8)* Читая мемуары Аннинских, я поражаюсь их тогдашней чистоте, неповрежденности. Многим сегодняшним молодым их не понять. Событием для двадцатитрехлетнего мужчины был взгляд(!) на купающуюся в реке любимую девушку (они забыли дома купальные принадлежности, договорились не смотреть друг на друга), после этого Аннинского мучила совесть. Турпоходы студентов тогда приняли форму агитационных бригад, студентов обязали не слоняться попусту на природе, а нести в села культуру: лекции переходили в концерты, и наоборот. Перед селянами студенты играли сценки из Чехова, декламировали стихи Блока, Тютчева, Маяковского... В лекциях, помимо упоминаний светлого будущего, студен-

ты говорили о космосе Циолковского, биосфере Вернадского, экологию Чижевского... Вернувшись в Москву, влюбленные Шура и Лёва бродили по улицам и музеям, целовались на скамейке возле её дома: «Я и теперь, полвека спустя, если случается пройти по улице Станиславского мимо той арки, — поворачиваю голову... Никакой скамьи во дворе давно нет, но меня обдаёт теплом...»(8) Помолвка случилась буднично: «...мы гуляли по Бережковской набережной; на том берегу угадывались в вечерней мгле силуэты Ново-Девичьего монастыря... тут-то я и сказал:

— Вот поженимся и тогда каждое воскресенье будем ходить в походы.

Она кивнула, и мы двинулись дальше, что-то обсуждая. На Бородинском мосту она сказала:

— В интересной форме ты мне сделал предложение...

На Арбатской площади мне было сказано:

— Ты бы спросил, согласна ли я...

...у дверей мне было сказано:

— Ты еще не объяснился мне в любви.

— Нужно специально объясняться? — спросил я совершенно искренне. Я помнил, как в детстве приставал к матери, почему они с Сашей жили нерасписанные, на что мать отвечала: «Может, еще и в церковь надо было сбежать повенчаться? В наше время это не имело никакого значения!»(8)

Шурочка, словами Аннинского, была «...такой бастард: родилась от шестидесятилетнего человека в 1933, а в 1941 его не стало. Умер от старости, от ужаса... она проголодала два года. Отец ее был дворянином по фамилии Коробов, а мать — домработница, молоденькая деревенская девочка, приехавшая в Москву... Потом война, дворянин помер, она тянула как-то дочь, продавала старые картины, что висели у старика».(3) Удивительно, как ей удалось выучиться. Уже после седьмого класса мать требовала бросить школу, идти к станку, отказывалась платить за обучение. Тянул Шурочку родительский комитет, собирал дядя её двести рублей в год старыми деньгами! Шурочка выучилась и теперь уже стеснялась матери, не могла быть с ней откровенной, все подробности жизни тут же выносились матерью на кухню, во двор. Когда Шурочке исполнилось девятнадцать, мать стала называть её «старой девой», дразнила отсутствием женихов, мечтала «сбагрить со своей шее».(10) Лёва тоже не мог откровенничать с матерью, боялся её «как потенциальный преступник боится закона: деваться некуда, да так и надежнее. К закону можно притерпеться; без него нельзя...»(3) В присутствии матери «затишаю и съезживаюсь: ей лучше не попадаться на глаза», она «издерганная, выбивающаяся из сил ...измороженная студентами в своем техникуме... не имеет терпения до меня достучаться... она требует мгновенного исполнения её распоряжений. Она повторяет сказанное — от силы один раз. После этого сразу взвизгивает на крик...»(3)

Короче говоря, вместе Лёве и Шурочке было несравнимо лучше: «Я, женившись, разом отделился от нотаций и криков». «Власть матери — самый главный, самый драматичный сюжет моего отрочества. Полнейшая подчиненность, безоговорочное и немедленное повиновение, контроль вплоть до мелочей... периодические скандалы, мгновенные взрывы, с криком, а то и с рукоприкладством, переходящие потом в мучительные двух-трехдневные периоды молчаливого дутья... Я был — истукан, я так защищался, я всё время жил под угрозой взрыва... её души я не чувствовал. Я просто её боялся... за стеной её власти... произрос и уберёлся в те проклятые годы хилый росток моего драгоценного идеализма».(3) Кроме того, Лёва и Шурочка оказались очень похожи — выросли в послевоенной Москве, окончили филфак МГУ, любили походы и путешествия, у обоих «безотцовщина, материнское воспитание».(8) «Как-то мы сидели на диване... и вдруг в моем воображении выстро-

илась картинка: я стою на дороге, или на развилке, впереди ничего не видно; надо идти, уверенности нет. Спутника бы... спутницу... не для праздничного «выхода», а вот для этого вьючного пути, неизвестно, далеко ли, долго ли, дойдешь ли, и что «там», куду дойдешь. И вдруг... какой-то шепот изнутри... ощущение: да вот же она!»(8) Помимо прочего, к женитьбе подтолкнула катящаяся по стране очередная компания: «...выявляли выпускников вузов, не поступивших на службу, клеили им тунеядство... До процесса Бродского было еще далеко, но к Шуру, только что получившей диплом, каждый день стал приходить участковый милиционер с вопросом, когда она устроится на работу. А она не берет в Комиссии по распределению направление, потому что тогда надо ехать на Дальний Восток...»(8) Перед свадьбой они узнали друг о друге много нового. Шурочка, например, любила кокетничать с мальчиками, Лёва ревновал её: «совершенно не выношу соперничества, ни на какой почве, в том числе и на лирической. Я просто сразу все отдаю: возьмите и отстаньте...»(8) Вскоре Шурочке стало не до кокетства.

После свадьбы некоторое время жили в квартире тёщи, Коробовы к тому времени умерли: «От Коробовых в комнатах на улице Станиславского остались картины в золоченых рамах, кадка с диковинным южным растением по имени «арма» и заспиртованная змея... ещё в комнате — явно коробовский, огромный, во всю стену, многоуважаемый шкаф. Я спросил, как его сумели протащить в двери. Шура ответила, что он «всегда был», то есть остался с дореволюционных времен, когда здесь размещался обувной магазин: папа в нем работал... Шуру вырастили Коробовы. Лихоманниковы помогли.

— А кем ты себя чувствуешь: Коробовой или Лихоманниковой?

— Я смесь...»(8)

Брачное ложе для Лёвы и Шурочки устроили под кроватью тёщи, личное пространство молодоженов ограничивалось четырьмя ножками старой кровати! Первая покупка молодой семьи — томик Леонида Соловьева «Насреддин в Бухаре», читали книгу вместе вслух перед сном. Об этой книге Аннинский напишет свою первую журнальную статью. А до того, до «статей», по выражению Льва Александровича, была лишь «преджизнь».(8) Мне жаль, что свою взрослую пору они перестали описывать в семейных хрониках. Жаль, что Аннинский бросил писать стихи — он ведь кропал их с восьмого класса, ввнил в этом Пушкина, который «отворил во мне какой-то клапан: из меня потекло, забило фонтаном, залило потопом... только в университете филологическая закалка помогла мне вылечиться от этого рифмованного поноса».(3) Автограф последних рифмованных стрóf Аннинского у меня есть:

*«Груды пыльных исписанных карточек
Гулы сонных и злых голосов
И туманы, туманы за окнами
Ни мечты, ни надежды, ни снов...»*

На самом деле мечты и надежды у Аннинского, конечно, имелись, почти все они оказались связаны с литературой. Для начала Лев Александрович потребовал от жены разместить в комнате рабочие инструменты писателя. В квартире появилась тахта, книжный шкаф, письменный стол, который раньше принадлежал отцу Льва Александровича, рядом приютилась детская кроватка первой их дочери — Машеньки (1958). В эту тётчину квартиру на улице Станиславского приходили к Аннинским поэты, писатели, актеры и режиссеры — Олег Ефремов, Борис Слуцкий, Игорь Шафаревич, Наталья Солженицина, здесь впервые записывался на магнитофон Булат Окуджава. Аннинский, похоже, первым записал песни Окуджавы на магнитофон. Аннинский и Окуджава тогда вместе работали в «Литгазете», барда звали с гитарой в квартиру на Станиславского, настроили микрофон... Вскоре после ухода барда к

Аннинским явился сосед — услышал песни через стену. А сосед этот работал фельдгерем в «компетентных» органах, ситуация была двусмысленной, Аннинский спрашивал у автора песен разрешения переписать бобину, Окуджава только рукой махнул...

Летом 1966 Аннинские получили трехкомнатную квартиру на Удальцова, мать Александры Николаевны переехала с ними, чуть позже дядя её купил однокомнатную квартиру этажом выше. Уже здесь, на Юго-Западе Москвы, родились еще две дочери Аннинских — Катя (1970) и Настя (1974). Помогали воспитывать девочек бабушки. Матери Льва Александровича принадлежала дача, куда она ездила со старшими внучками, мать Александры Николаевны играла роль русской «народной совети», она не давала интеллигентным родственникам оторваться от мира простых русских людей с деревенской логикой жизни. Александра Николаевна разрывалась меж семьей и службой, работала искусствоведом, преподавателем русского для иностранцев, пыталась рисовать. Всё в условиях её нервности, склонности к депрессиям, худобы, тиреотоксикоза, прогрессирующей близорукости. Дочери часто болели, мать перед смертью потеряла разум, Александра Николаевна тащила большую семью, позволяя Льву Александровичу творческую жизнь, отпуская его надолго в походы. Россию он ещё и поэтому знал прекрасно, исходил её с рюкзаком за плечами, у Аннинского был первый разряд по туризму, со многими творческими людьми — Натальей Солженициной, с Шафаревичем, — Лев Александрович сдружился именно в походах. Александра Николаевна не только растила детей, она была еще и главной собеседницей Аннинского. С такими женщинами, как она, рядом удобно молчать и думать, не все женщины это позволяют. Молодой Аннинский воспринимал искусство чрезвычайно остро: *«Журавлики» Калатозова? Меня бил а истерика, когда мы с Шурой шли с сеанса. Гибель солдата потрясла меня так неожиданно и страшно, что я не мог даже краем памяти сцепить с нею отца... Я давился рыданиями, слава Богу, дело было вечером, темно — а Шура шла рядом, держа меня за руку и не говоря ни слова... Я написал о фильме через десять лет, и, можно сказать, книгу о кино, о нашем кино, — потому и написал, что были «Журавли»...»(8)*

Только так и можно жить в искусстве, холодным сердцем тут ничего не сделать. Угадал он со спутницей, поэтому мог спокойно теоретизировать в дневнике за 1957 год: *«Социализм единственно прогрессивен после капитализма: всякий возврат нелеп. Но социализм не устраняет фатальных противоречий между людьми, потому что корень их лежит не только в разрыве форм владения, но глубже... Равновесие, царящее в этом мире, не может быть обеспечено каждой особи, потому что некому все решить и предусмотреть, ибо каждый — не более, чем человек. Там, где отклонения от равновесия превышают малость индивидуального существования... — противоречия становятся кровавыми. Все мы специалисты, каждый в своем. Значит, мы уже обособлены. Разбиты в обществе на группы. Разобцены. И значит, всегда остается возможность раскола и кровавой борьбы...»(8)* Главное, чтобы в душе, в семье раскола и кровавой борьбы не было... Тогда можно смотреть «Журавли», плакать от высоких чувств, гениально размышлять о поэзии: *«Магия поэзии в необъяснимости. Как только поэзию объясняешь, она превращается в клок реальности... Для того, чтобы говорить с Богом, человек должен пребывать в экстатическом состоянии. Поэт говорит в рифму и складно — он так общается с Богом... Иногда человек талантлив, но ему не хватает техники. Иногда он блестяще подкован как профессионал... но не ставит тех вопросов, которые повергают тебя в ужас и уныние или в экстаз и прозрение...»(3)*

Развитие убеждений Аннинского происходило, на мой взгляд, примерно так. На первом этапе, в молодости, он верил в коммунизм, хотя и с оговорками на постоянную «возможность раскола и кровавой борьбы» (8). Затем атмосфера шестидесятых сделала его левым западником: «По

младости лет мне хотелось быть западным. И, конечно, я втянулся в новомировскую мечтательность...» (3) В 1965 году Слуцкий написал Аннинскому рекомендацию в Союз писателей, дав напутствие по-командирски: «Вы должны написать книгу о послесталинском поколении...» «Слушаюсь!» (3) — якобы ответил Лев Александрович. Он собрал уже напечатанные и новые эссе в книгу «Ядро ореха», книга увидела свет лишь через три года. Как почти всем молодым, Аннинскому хотелось жизнь *«переделывать, все обновлять»*, сверстники-интеллектуалы твердили на московских кухнях: *«Только дайте свободу, а дальше мы разберемся.»*(3) Аннинский стал классическим шестидесятником.

Слово это, в новом контексте, явил миру Станислав Рассадин в 1960-м. Рассуждая в «Юности» о своих современниках, он так и озаглавил статью — «Шестидесятники». Термин прижился, Мариэтта Чудакова в 2006 уточнила определение — по её мнению, шестидесятники родились с 1918 по 1935 (к шестидесятым они как раз вошли в силу); при относительном либерализме они были ориентированы на сотрудничество с властью; их родных репрессировали, как вариант — близкие погибли на войне. При всех потерях войн и репрессий шестидесятники оставались оптимистами-идеалистами! К Аннинскому все это подходит, он и сам не отрицал своего «шестидесятничества», писал, что *«шестидесятники» — символ неповрежденного идеализма, который попытались спасти и внести в жизнь два советских поколения... Наконец, это символ поиска, символ волюнтаризма, символ пробуждения... Период завершился на моих глазах... Он завершился... еще до конца календарного десятилетия. В 1966-1967 ещё что-то теплилось, были какие-то надежды, проскакивали какие-то фильмы... Но уже к 1968-1969 все стало другим... Летящий вперед, наивный, открытый, мечтающий, мыслящий, страждущий дух «шестидесятников» уступал место чему-то другому: стабильному, устойчивому, застойному, по-своему глубокому и мощному...»*(5). При этом сам термин ему не нравился: *«Мы дети XX съезда, а это 1956 год. Кроме того, шестидесятники были еще в XIX веке. «Новые люди» Чернышевского — это и есть шестидесятники... Я не хотел быть Верой Павловной. Поэтому рассадинский термин хоть и употреблял, но тихонько высмеивал...»*(3)

Может, и высмеивал, но шестидесятником был, ведь мечтал же об открытом мире, всеобщей дружбе, свободе, надеялся на лучшее в международных отношениях. Идеализм шестидесятников, их надежды на мирное переустройство мира, получили страшный удар в 1968, когда наши танки вошли в Прагу, ведь чехи тогда мирным способом пытались развивать социализм в сторону больших свобод. Сотрудничество с властью в СССР для мыслящей интеллигенции стало двусмысленным, шестидесятники кинулись прятаться в заранее выбранные творческие ниши. Евтушенко путешествовал по планете «в борьбе за мир», подписав документы о сотрудничестве со спецслужбами. Вознесенский занялся архитектурными изысками в поэзии, говорил о введении в светскую поэзию «литургического начала», опробовав это в поэме «Юнона и авось». Кто-то сбежал в детскую литературу, часть еврейских писателей занялась Израилем, многие ушли в смерть (Шпаликов), саморазрушение (Венечка Ерофеев), сумасшествие (Слуцкий), диссидентство (Войнович, Владимов, Аксенов)... Аннинский укрылся в литературоведении, начал говорить эзоповым языком. Чаще даже не эзоповым, а чересчур сложным языком для ревнителей коммунистического благочестия. При этом, на мой взгляд, некоторые его идеи оказались спорными. Например, он возвысил Лескова. Из второго ряда писателей Аннинский «выдвинул его в первый ряд, переосмыслив его и обозначив как писателя русского абсурда» (Дмитрий Быков). Аннинский мог написать книгу на любую тему так, что это не вызывало скуки от привкуса идейной оскомины. Например, жизнь Островского, когда Аннинскому предложили написать о нём, была мифологизирована, о нём полагалось говорить лишь

идейную чепуху. Аннинский поначалу писать об Островском отказался, говорил, что «нет такого писателя»(3), но затем решил попробовать. Его книгу отвергли, сказали — идеологически неправильная. Аннинский несколько раз правил её, «испортил слегка» (3), но книга все-равно оставалась «плохой». Шесть лет её не печатали, затем отдали читать в ЦК КПСС (поразительно, книги молодых авторов тогда читали в ЦК КПСС!) и там нашелся умный человек, который сказал: «В этой книге крамолу заметит один из десяти, а девять остальных просто перечитают Островского. Издавайте...»(3) Книга вышла, её раскритиковали: «Вот смотрите, он протасил здесь Бердяева, здесь Флоренского, здесь Достоевского, а сделал вид что это Островский».(3) Затем всё утихло, в 2015 Аннинский переиздал эту книгу, не меняя вообще ничего. Кто ещё мог спокойно в 2000-х переиздать свою книгу из 1970-х, не меняя ничего и книга оставалась бы читабельной, интересной? Пожалуй, могли позволить себе это Бондарев, Распутин, Белов, Астафьев, Курбатов, Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина... Аннинский не лстыл Островскому: «Как закалялась сталь» — это сочинение, написанное неумелым человеком, который искренне любит и потому искренне ненавидит. И я там размышляю, что с ним происходит, с Николаем Островским. И в его лице — с моим народом, от которого я не могу никуда деться... В своей книге об Островском я нигде не употребил слово «художественность», нигде не употребил слово «литература». Я говорил о колдовстве, о вере, об экстазе, об увлеченности, обреченности. Судьбу Николая Островского я вписал в судьбу России, которая столько времени почему-то жила в атеистическом безумии, а великие русские мыслители и писатели подготовили большевистскую бесовщину... Не на пустом же месте Островский возник, он ведь недаром ненавидел Достоевского: они одно делили...»(3) В конце жизни Аннинский сделался государственным, защищал СССР. «Человека на время можно примирить, утихомирить, но нельзя исправить», — стал говорить он. При этом он даже укорял шестидесятников, считал, они со своими фантазиями недостаточно любили Россию: «Ближе всего мне Георгий Владимов, хотя я с ним спорю. Нельзя Россией жертвовать ни ради чего. Владимов ею пожертвовал ради того, что считает святым. То, что он считает святым, все равно без России не осуществилось бы, а он думал, что осуществится...»(3)

Помимо литературоведческих «статей» Аннинский десятилетиями писал «семейные хроники». Одно время его мало печатали, он тогда и занялся мемуарной прозой: «...занимался я этим в годы застоя. В ту пору печатали меня плохо, и все свободное время я тратил на родословие, которое — я уже точно знал это — становилось главным моим трудом...».(3) Аннинского беспокоила память о пропавшем отце, сквозь него Аннинский пытался лучше понять русских сродников и вообще Россию. Без любви не осилить этой головоломки. Россия в XX веке несколько раз меняла отношение к вере, частной собственности, своей истории... Войны, репрессии, голодоморы, коллективизация, бесчисленные идеологические компании... Думаю, Аннинскому хотелось найти в душе хоть что-то прочное, а что, кроме Господа, более незыблемо, чем любовь к отцу? Особенно, если реальный отец не может разрушить придуманный образ...

После войны, как только Аннинский немного повзрослел, началось у него «мысленное бесконечное прощание с отцом»(3). Эта его преданность человеку, которого видел только в детстве, вызывает у меня восхищение. Думаю, он искал в себе сыновье чувство не только к отцу. «Когда мне было лет двадцать... мать достала донашивать старые его вещи и... со мной творилось что-то страшное, я зарылся лицом в эту рубашку и не мог прийти в себя»(3). Он тосковал, видел в отце другой мир, с матерью было тяжело, а «отец никогда не дулся, в отличие от вечно надутой матери...»(3) К тому же Аннинский нашел в семейных бумагах написанную от руки дедовскую родословную, ему захотелось её про-

должить, он осознал себя важным звеном в семейной истории! Однажды «в 1969 ...на байдарке проплывали мы недалеко от Великих Лук... мой отец пропал без вести возле Великих Лук... и этот поход запустил во мне какой-то важный механизм... я решил, что обязан вписать в дедовский манускрипт главу об отце, поскольку сам отец не может этого сделать...»(3) По словам Александры Николаевны: «...муж мой, вернувшись из байдарочного похода по белорусской реке Уща... вдруг стал испытывать острую тоску. Он без конца говорил об отце, рассматривал старые фотографии, задавал родным вопросы, на которые часто они и ответить не могли... Материала было собрано много и, казалось, что обнаружить еще хоть что-то невозможно... Отложив это на потом, он сходу записал воспоминания своей матери и двух ее сестер... Получилась родословная еврейской семьи Александровых, написанная в стиле Акутагавы... у которого в рассказе «Расёмон» об одном и том же событии трое его участников рассказывают совершенно по-разному. Закончив книгу об Александровых... Лев приступил к родословной отца... Несколько лет, отданных поиску и воскрешению отца, очень изменили Лёву. Он как бы духовно созрел, стал иначе видеть и понимать действительность, научился сочувствовать людям...»(10) В поздних интервью Аннинский вспоминал: «...Я разыскал одного свидетеля, который видел отца уже после написания последнего письма к нам из Великих Лук, и я стал продолжать поиски... я позвонил маме и двум ее сестрам, моим теткам... И вот они, плача, стали вспоминать свою семейную историю. И в результате получилась книжка «Три дочери Залмана». ...На свои деньги я издал пятьдесят экземпляров и раздал трем своим дочерям, родственникам, вообще всем, кто хотел... Попутно я узнал про отца, что ...он был тот ещё «ходок», узнал, что свою графоманскую страсть я унаследовал от него, а он от своего отца... А потом мне в руки попал весь его архив. Все письма, дневники, справки. Он боялся потерять хоть одну справочку: его вычищали из партии, а он восстанавливался; дед-то был раскулаченный, эсер, брат деда — белогвардеец, словом, сплошная шолоховщина. У него были три жены, и все сохранили каждый клочок бумаги, связанный с ним... И я прошел за ним весь путь от Идрицы до Невеля, расспрашивая по деревням... чтобы понять, кто убил отца — свои или немцы... написал письмо военкому... Военком расчувствовался, позвонил мне. И вот старик-полковник повел меня в подвал. Какая-то стриженная секретарша загомонила, что материалы секретные, что выдавать нельзя... И попала мне в руки скользкая от времени... адресная книжка. Я открыл на «И», увидел фамилию отца и чуть не лишился сознания. Я переписал все фамилии, которые нашел в книжке. Пошел в Мосгорсправку. Сдал тридцать адресов, заплатил какие-то ничтожные рубли и обеспечил им годовой план поиска. В ответ получил три адреса. По всем отослал письмо... выяснилось, что один из трех знает еще одного участника тех событий. И дал мне телефон. ...отозвался женский голос. Я стал объяснять, кто я и зачем ищу фронтовика. А она мне отвечает: «Никогда я вас к нему не подпущу. Вы его добьете. Я медсестра была, собрала его по кускам, выходила, не дам ему ничего вспоминать!» И шлепнула трубку. Я стал осторожно, с промежутками, дознаваться в надежде, что когда-нибудь трубку снимет он сам. Так и произошло. Я буквально взвыл... Он назначил мне встречу на тот день, когда жена была на даче... Он заплакал, когда я показал ему фотографию отца... Ничего, говорит, хорошего я тебе, сынок, не расскажу. Нарвались мы на минное поле. На наше! И оставили твоего отца в воронке с перебитыми ногами... Я высчитал место, опять поехал туда. Нашел этот берег и узнал это место. Это я там проплыл на байдарке в 1969 году. А в 1975 я подумал об отце: «Ну вот, Саша, ты позвал меня из-под земли...»(3)

Но это было не последнее знание, оказалось, отец Аннинского не погреб в той воронке. Книгу Аннинского об отце каким-то чудом прочел ещё

один старик, Михаил Скрябин, который перед войной работал на «Мосфильме». Он воевал, находился в немецком концлагере, после бежал, партизанил. Так вот он видел в концлагере Полоцка отца Аннинского, которого знал по «Мосфильму»! Этот старик и пересказал последний эпизод жизни политрука Иванова его сыну: «...из воронки его вытащили с перебитыми ногами местные мужики. И повезли в ближайший военный госпиталь за 100 километров, в Полоцк... Когда немцы взяли Полоцк, он там лежал... Его выходила пожилая врачиха по фамилии Крэсик... Отец как-то затаился в каптерке при больнице, работал. Конечно, скрыл, что был политруком... Но спастись не пришлось. Вскоре арестовали большую группу врачей, служащих больницы, артистов местного театра, связанных с партизанами... их ввели на расстрел... Врач этот Крэсик не могла идти от ужаса, отец её вел... был он спокоен, только перед самым расстрелом скинул шапку и встряхнул головой. Казак... Полтора года назад я поехал в Полоцк, взял с собой дочерей... Я нашел место расстрела. Камень, на котором были выбиты слова о расстреле двадцати тысяч «мирных жителей». Не было мирных жителей! Это была война народов, а не систем! Вот и всё. Вечная им память. Девочки, мои дочери, положили цветочки, поплакали...»(3)

Память об отце заставила Льва Александровича написать и о матери: «Мама — еврейка с Украины. Бабке моей по материнской линии было не до генеалогических деревьев, она спасала семью от еврейских погромов. Во время одного из них её и убили, а моя мама, восьмилетняя девочка, тогда сбежала и добежала аж до Москвы, где в шестнадцать лет встретилась с моим будущим отцом. Никогда бы мои родители не соединились, если бы не «распроклятая» советская власть. Я, кстати, к советской власти отношусь несколько иначе, чем все, кто продолжает её топтать...»(3) Я всегда учитывал это мнение Аннинского, совпадающее с позицией моих друзей из «русского» стана — не пытался унижать нашу советскую родину, хотел только разобраться в причинах её падения...

Что ещё уникально в Аннинском — он мог свободно говорить о самых сложных моментах взаимоотношений русских и евреев, не стесняясь общепринятых комплексов. Чего ему было стесняться, ведь он сам был и русским, и евреем, любил тех и других. В «Жизни Иванова» он так пересказывает свою первую встречу с отцом:

«— ...Имя у него какое?

— Лев...

— Лев Александрович, — веско уточнила Саня (помощница матери Аннинского — С.О.).

— Ну, уж это как знаете, а я его буду звать по-своему.

Сделал мальчику «козу» и неожиданно рывкнул:

— Ж-жидюга!

— Мальчик сморщился и приготовился плакать. Схватил его на руки, стал успокаивать:

— Нет, ты мой Казанок, Казанок...

И дождавшись, пока парень начал смеяться, победоносно обратился к женщине:

— Теперь вам ясно, как он сам хочет, чтобы его звали?»

— А вот как он вспоминал свою национальную самоидентификацию: они шли с матерью в голодный послевоенный год на огород, разбитый возле Мосфильма, какой-то парень крикнул, увидев их: «Жида идут!» Лёву это ударило. «Мне не раз случалось впоследствии отвечать на вопросы: «Скажи откровенно, ты еврей?» Да. Я им стал. Когда мы шли на тот огород. Точно так же сорок лет спустя, при развале СССР, когда объектом всеобщей ненависти сделались русские, — я впервые не умою только, а шкурой почувствовал, что я русский. Я им стал...»(3) Как бы Аннинского не перетягивали из одного лагеря в другой, главное — Аннинский был человеком русской культуры, он не мог жить без России, хотя у него была возможность поселиться в Израиле, США. Он не хо-

тел, чтобы народы ссорились, мечтал о сотрудинчестве, недаром дольше всего работал именно в журнале «Дружба народов»: «СССР? Мне всегда будет жалко, что всё развалилось. Душанбе, Киев, Кишинев, Прибалтика — туда уже не зовут, да и не тянет, поскольку очень много враждебности к таким «оккупантам», как я... Перестать быть русским не могу, никуда от России не денусь, лучше умру с ней. Я отпрыск двух «нерусских» народов: донских казаков и евреев; оба — кочевые, никаких властей не признавали: одни из страха, другие — из гонора... Куда мне деться? У меня другой культуры нету — ни еврейской, ни казачьей, только русская! И таких, как я, довольно много...»(3)

Благодаря его хроникам я хорошо представлял московскую жизнь 1940-х и 1950-х. Осенью 1943 они с матерью вернулись из эвакуации — распаханная посреди Москвы земля, дым от горящей сухой ботвы, печеная картошка, их большой кирпичный дом, а вокруг барачная Потылиха. Их дом построили по особому проекту для зарубежных спецов, работавших в 1930-е на «Мосфильме», позже комфортные квартиры переделали в коммуналки. Пятьдесят четырехкомнатных коммуналок на двести семей, по комнате на семью. Одна неразделенная четырехкомнатная квартира для Эйзенштейна. Дом этот после снесли, когда он стал мешать спрямить Мосфильмовскую улицу. У Эйзенштейна в 1930-е здесь была единственная машина на всю округу. Его шофер катал окрестных мальчишек на этой машине. Сразу за Потылихой начинались деревенские пригороды Москвы — грязь, овраги, сараи, петухи, коровы, церковь в ближайшем селе Троицкое-Голенищево. Сейчас церковь — единственное, что сохранилось от Потылихи.

Матери Аннинского в техникуме тогда нарезали «картофельную сотку», будущему философу приходилось, вместе со всеми, сажать, пропалывать и окучивать картошку, колорадских жуков тогда еще не было. Слоняться одному по городу считалось опасным — могли побить, отнять деньги, — поэтому дети ходили «коддами», группами. Везде было холодно и только в метро спасение. Стылый троллейбус мог и не прийти, а теплый и чистый вагон метро приходил всегда, на нём было удобно ехать под всей огромной Москвой — к музеям, библиотекам, филармониям, университетам. Провинциальные дети могли об этом только мечтать...

После «Трех дочерей Залмана», «Жизни Иванова», Аннинский помог создать Александре Николаевне «Дом в Леонтьевском», ещё чуть позже у них родились общие книги — «Слободы и центр». Прежде чем это прочесть, я много раз слышал от Александра Николаевны их семейные апокрифы.

В сталинское время Шурочку мучили сомнения в отношении отца и крестных, ведь мать «во время ссор кричала: «Бары! Я вот пойду заявлю на вас всех!»(10) Шурочка расспрашивала отца о его прошлом, тот уходил от четких ответов, остальные члены семьи лишь посмеивались. Отец так и не выдал себя, Шурочке перестало о своих сомнениях думать, но в шестидесятых годах Борис Слуцкий, зайдя случайно в гости, «скользя взглядом по картинам в старинных рамах, вдруг остановился перед троюм. Глядя в зеркало, с комиссарской прямоотой спросил меня:

— Вы из бывших?

— Нет, — отвечала я насмешливо и чистосердечно. Он покосился на меня и припечатал:

— Из бывших...»(10)

Наталья Михайловна Хитрово, работавшая с Аннинской в музее Толстого, тоже сомневалась в её крестьянском происхождении, указывая на хорошую обувь Аннинской 33-34 размера (у крестьянок, по словам Хитрово, почти всегда большие ступни), глядя на посуду Аннинских производства фабрики Кузнецова. Лишь сорокалетней Александрой Николаевной узнала правду. На чердаке одного из домов Карачева, где прежде жили её родственники, обнаружили чемодан с письмами. «Прочтя найденную на чердаке переписку моего дяди... я поразились чутью Ната-

льи Михайловны. Позже я узнала, что мой дед, Степан Дмитриевич Коробов... был дворянином. Его предкам принадлежало имяние Коробово недалеко от Карачева... семерым братьям, среди которых мой дед был младшим, достался только один крепостной крестьянин... Когда сгорел дом Коробовых, над семьей была установлена дворянская опека... моему отцу учиться уже не довелось: подростков-сыновей отдали «мальчишками» в магазины и конторы. Мой отец попал в магазин...»(10) Отцу её всю жизнь суждено было работать с обувью, поэтому он профессионально в ней разбирался. Дед-дворянин Александры Николаевны — Степан Дмитриевич Коробов — «работал в Орле судьей... был вспыльчив, властен и крут характером...»(10) Её отец, когда вырос «из мальчиков», мечтал завести собственных лошадей, купить свой магазин. У одного из предков Коробовых был свечной заводик, этот Коробов приблизил к делу и воспитал сироту. Юноша вырос и открыл собственный заводик неподалеку, производя свечи не из воска, из дешевого стеарина, разорив этим своего благодетеля. Коробовы обеднели с потерей заводика, позже сгорел их фамильный дом... Поэтому отец Александры Николаевны был уже небогатым человеком. Он в юности влюбился в двоюродную сестру, дочь своего дяди, крестного отца. Брат и сестра мечтали пожениться, но родители воспротивились их браку, влюбленная парочка сбежала от родителей, отправилась в романтическое путешествие по югу России. Девушка забеременела, плод развивался плохо, его удалили вместе с маткой. Девушка эта, тоже Александра, в её честь и назвали Аннинскую, после операции красоту потеряла, стала болеть, Николай Коробов остыл к ней. Считалось, что семью Коробовых кто-то проклял (на этот счет есть несколько семейных преданий): у одного из сыновей Коробовых жена умерла в родах, второй уснул с сигаретой в руке и сгорел заживо, их сестра Нота Коробова погибла от скоротечной чахотки за несколько дней до намеченной свадьбы. Ещё один брат Коробов спустился к>Note в фамильный склеп и вылез оттуда сумасшедшим...

У Николая Коробова в молодости было много женщин, путешествий и приключений — в Батуми, Сухуми, на Северном Кавказе и в Крыму, но перед революцией он оказался в Москве. Александра ездила за ним, хотя жили они поврозь. Николай Коробов, судя по фотографиям, лет до пятидесяти был красив, лихо катался на коньках, любил музыку и театры. Имел хороший голос, учился пению, по церковным праздникам пел на клиросе в Елоховском соборе Москвы вместе с солистами Большого театра Михайловым и Рейзенем. Николай Коробов не хотел уезжать из России, даже когда всё начало рушиться. В 1916 он выкупил небольшой обувной магазин у знакомого, который готовился из России сбежать. Магазин располагался в доме № 2 Леонтьевского переулка — в 1812-м, кстати, у французов был здесь театр. Когда началась февральская революция, Коробов магазин закрыл, превратил помещение в квартиру № 14. Готовясь к революции, заполнил квартиру антиквариатом, картинами, авторскими гитарами, дорогой одеждой, мебелью... Тридцать лет семья жила, продавая эти вещи, прирабатывая «кто где мог»(10). Коробов устроился «спецом по коже и обуви» в Центросоюз. Высота потолков квартиры составляла более 4-х метров, над огромной кухней придумали устроить полати ддя прислуги, там невысокий человек мог стоять, слегка пригнувшись. В 1918-м Домком отобрал у Коробова лучшую комнату с парадным входом, готовилось дальнейшее уплотнение. Тогда умный Коробов поселил у себя брата и гражданскую жену, ту самую Александру, ликвидировал ванную, чтобы не делить её с чужими людьми. Кроме них в квартире подолгу жили племянники и племянницы Коробовых, их матери, общие друзья... Домкому пришлось отступить.

Жизнь у Коробовых напоминала существование семьи Булгаковых, Пастернаков... К обеду приходили гости, которые оставались до позднего вечера — играли на фортепиано, в домино, винт, преферанс, пели романсы, читали стихи, танцевали, спорили. Основным правилом счи-

талось не говорить о политике, не ругаться матом, избегать пошлых тем. Готовила кухарка, стирала прачка, Николай Коробов был центром этой большой семьи. Он лично покупал дорожающие продукты, на всякий случай запирали их в кладовой, составляя меню в зависимости от бюджета. В 1922 кухарка и прачка из семьи сбежали, гражданская жена Коробова готовить и стирать не умела, в семью наняли двадцатилетнюю Нюшу Лихоманникову, крестьянку из тверской деревни Юрятино. Маленькая расторопная Нюша поселилась на полатах, став членом семьи. Она стирала, прибиралась, стряпала, натирала паркет, да ещё ставила жильцам дома банки, клизмы, успев поработать санитаркой в больнице.

Александра Николаевна рассказывала мне шепотом, что Юрятино находится в Засрачье, то есть за рекой Срачка, это напротив знаменитого волжского села Карачарово. Известностью в Юрятино пользовалось семейство Жопкиных, такая вот русская этимология. Сначала Нюша работала в Питере во Французской больнице, её там называли НюшА. Веселые французские солдаты, изловив НюшА, сажали её в центр подноса, на котором она доставляла им еду, осторожно, с почетом носили повизгивающую девушку по коридору. На каникулах НюшА возвращалась в Юрятино, деревенские парни много раз делали ей предложение, она всякий раз отказывалась, не хотела возвращаться в деревню. В семье Коробовых ей в 1920-е жилось неплохо — на обед запеченный поросенок с гречневой кашей, уха из белуги, пирожки с мясом, щавелем, яблоками, а в деревне тяжкий труд и продрозверстка... Утром Нюша бегала в магазин за свежим хлебом, молоком и газетами, Николай Степанович читал перед завтраком газеты всей семье. Коробовы уезжали на службу, а Нюся (так ее называл Коробов) убиралась, стирала, готовила обед, который начинался обычно в семь вечера, к этому времени её «старики» (она их так называла) возвращались домой. Вечером ужинали за большим самоваром, Николай Степанович выпивал двенадцать стаканов чая с колотым сахаром. Нюся сидела у самовара, слушала господские разговоры, что-то у неё оставалось в голове. Когда гостей не случалось, Коробовы читали вслух Пушкина, Толстого, Писемского... Ночью, вымыв посуду, Нюся взбиралась на свои полаты, ложилась спать. Здесь была её вотчина — железная кровать с мягкой периной, сундук с одеждой, зеркальце... Коробовы пытались развивать свою Нюсю, к её четырем классам юрятинской церковно-приходской школы добавили несколько месяцев ликбеза. Там Нюся выучилась хорошо читать, ей разрешили брать книги из библиотеки Николая Степановича. Нюсе нравились рассказы Толстого, Лескова и Чехова «из жизни простого народа». (10) Кроме того, Нюсю отдали учиться на курсы кройки и шитья, вскоре она уже шила одежду, даже пальто. В свободное время ей позволяли ходить в кино, несколько раз давали билет в Большой театр, но там ей показалось скучно.

Единственное, чего Нюсе не хватало — ребенка. Как почти все женщины она мечтала о продолжении рода, личной жизни не намечалось, что было делать? Однажды летом часть семейства Коробовых разъехалась по санаториям, Николай Степанович и Нюся остались в квартире одни. Николаю Степановичу в это время шёл 63 год. Много лет спустя Александра Николаевна спрашивала у матери: « — Ты любила моего отца? — Нет. — Но тогда как же? — Так получилось. Судьба...» (10) Коробовы долго делали вид, что не замечают беременности Нюси, Николай Степанович тоже не афишировал своей инициативы. На семейном совете дворяне решили перевести Нюшу с полатей в проходную комнату, окружив её заботой. Когда она родила здоровую девочку, восторженный Коробов признался родственникам в своем отцовстве. Некоторое время гражданская жена на него дулась, но девочку называли её именем, вскоре она полюбила малышку как свою дочь. Коробовы сделали крестными родителями Шуручки. Александра Николаевна Аннинская всегда писала с большой буквы — Крестный, Крестная...

Отец Шурочки умер весной 1942 У него, в силу возраста, появилась аденома предстательной железы, после перенесенного гриппа начался кризис, мочу приходилось спускать катетером. Коробов ходил для этого в больницу, неопытная медсестра повредила уретру, открылось кровотечение. Отцу Александры Николаевны врачи поставили трубку в мочевой пузырь, началось воспаление, страдания были ужасными, временами Коробов просил убить его. Шурочка решила молиться за отца, выбрала «самую добрую икону» (10) в своей с матерью комнате и молилась так: «Господи... мое детство несчастливое... а папа видел не только плохое, но и хорошее, ему умирать жалче. Пусть я умру вместо него!» (10) Она до последнего не верила, что папа исчезнет, ведь она молилась! Но папы не стало 9 мая 1942, Шурочка решила: «Бог потому выбрал умереть папе, чтобы она выросла и у неё были дети» (10). Поэтому к деторождению у неё было особое отношение, она считала это оправданием своей жизни! Похоронили папу на Ваганьковском с отпеванием в церкви, Шурочка впервые в жизни на поминках наелась досыта. Получается, даже своей смертью папа сделал большое дело — подтолкнул дочку к вере в Бога...

Без отца в их семье начался голод, Нюша предложила Коробовым раздельно питаться, зарабатывать случаем — мать Шурочки шила маскировочные халаты, крестная вязала кофточки. Крестный работать уже не мог и потому тяжело голодал. «Кто не работает, тот не ест». Как-то в гости приехала тетка Шурочки, привезла две буханки хлеба, сварила перловый суп, устроила праздничный обед. После долгого перерыва крестный наелся досыта... и скончался. В нашей семье таким же образом умерла сестра бабушки после прорыва блокады Ленинграда: плотно поела и умерла, как тогда говорили «от заворота кишок».

Одна из теток Аннинской попала на трудовой фронт, где мобилизованные женщины (от 16 до 45 лет) рыли окопы, валили деревья, таскали бревна. Изможденные, голодные женщины жили в нетопленных бараках, бань и туалетов, по её словам, построить не успевали. Крестьянки как-то держались, а горожанки, привыкшие к хорошей жизни, «мерли как мухи». (10) У Коробовых кончились дрова, стены в квартире обледенели, цветы замерзли, кухню обогревали буржуйкой, на ней и еду готовили. Мебель разломали на дрова, ложились спать рано, чтобы меньше двигаться и экономить энергию. Мать Шурочки шила введенные тогда в армии погоны, а крестная продолжала вязать кофточки. Чтобы дожить до весны, зимой 1943-го последние ценные вещи сдали в комиссионку. Многие отдали за хлеб знакомым — настенные тарелки, керамические панно, бриллиантовые серьги, коралловую нить, жемчуг, картины... Весной съели всю траву во дворе, отдали библиотеку Коробова в букинистический магазин, оставив себе только потрепанные книги. Среди них оказалось «Детство» Толстого, с этой книги Шурочка и начала серьезное чтение. Толстой остался с ней на всю жизнь, и я тоже познакомился с Аннинскими благодаря Толстому...

Москве стало полегче, когда наши взяли Орел. В Москве устроили первый салют, многие начали возвращаться из эвакуации. После перенесенного голода Шурочка долго болела — у неё случались обмороки, испортилось зрение, мучил фурункулез, подозревали чахотку. Матери пришлось сдать свою комнату двум военным интендантам (запахи интендантских обедов были очень мучительны), чтобы купить дочке немного сливочного масла, которое считалось лучшим лекарством от туберкулеза. Его давали по столовой ложке в день, к весне 1944-го Шурочка встала на ноги. В это время работающим в Москве стали «нарезать» участки под огороды, многие сажали в землю картофельные очистки, на которых сохранились глазки... Деревенские родственники Шурочки весной 1944 как раз прислали матери немного картошки и свинины. Картошку съели, очистки посадили, свинина после трехлетнего перерыва вызвала понос, организм разучился её усваивать.

Начиная с 1944 по московским улицам иногда стали прогонять пленных. В первый раз на них отправились смотреть все. Впереди колонны шли немецкие генералы, они не поднимали глаз от земли. Аннинская вспоминала:

«Вдруг кто-то закричал с тротуара:

— Убили-и. Сына моего убили-и!...

И сразу все стали кричать, и я тоже... Женщины, стараясь прорваться к немцам сквозь оцепление, грозили им кулаками, выкрикивали проклятья. Кто-то искал булыжник, а булыжника не было... Начали хватать, что попало, в немцев полетели комья грязи, мусор... А мимо нас шли уже простые солдаты, худые, измученные, и весь гнев людей пал на них. Настроение толпы передалось милиционерам, сопровождавшим колонну, они стали наезжать на немцев конями, теснить их... И тут я услышала, как мать сказала:

— Зачем же людей-то давить? Они же тоже подневольные...»(10)

«Победу, конечно, ждали... но не думали, что она придет среди ночи. Бешеный стук в дверь... Как все закричали! Только, кажется, не «победа». Кричали: «Кончилась, кончилась!» И плакали. Легли мы под утро. В ту ночь я написала свои первые стихи... Вернулся в Юрятино только один солдат — единственный из юрятинских, оставшийся в живых... в Германии после победы у них в части устроили бал, и все офицерские дамы явились в трофейных бальных платьях, которые оказались немецкими ночными рубашками. Откуда же нашим было знать, когда брали из шкафов? ...из Германии шли в ту пору целые эшелоны добра... Меня тянуло рисовать... Я очень стеснялась своей близорукости и ни за что не хотела надевать очки... Была ещё одна проблема: краски, купленные когда-то папой, были на исходе. Последний натюрморт я написала тем, что осталось — синей и коричневой...»(10)

Долгую, насыщенную событиями жизнь Аннинских невозможно пересказать. Жаль, что их семейные хроники охватывают лишь начало, молодость. Дальнейшее — в интервью, книгах, телепередачах Льва Александровича. Он критически относился к массовому телевидению, но телеканал «Культура» приветствовал: *«Телевидение мощнее действует на индивида. А чтобы докопаться до личности, нужно, чтобы человек задумался, остановился, вернулся к тексту... Тот, кому нужно прочитать, всё найдет... Плюнет, не станет читать — и не надо. Значит, не для него... Тексты читают мало, это работа большая...»*.(3) Аннинский и Курбатов оказались телегеничными, у Аннинского случился настоящий роман с телевидением, на телеканале «Культура» появилось несколько его авторских программ: «Уходящая натура» (о писателях-шестидесятниках), «Серебро и чернь» (о поэтах Серебряного века), «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва»... За них его отмечали премией ТЭФИ в номинациях «лучший сценарист телевизионного документального фильма» (1996), «лучший телевизионный документальный сериал» (2004)...

Аннинский к 1990-м стал одним из виднейших российских культурологов и литературных критиков. Сравнивать с гениями литературоведческой мысли — Бахтиным, Лосевым — Аннинского, наверное, нельзя. А вот с Писаревым, Добролюбовым, Чернышевским, Струве, Михайловским, Анненским, Страховым вполне можно. Позиция и уровень мысли Аннинского выигрывают, в сравнении с позицией Чернышевского и Добролюбова. Аннинскому в голову бы не пришло воспевать и призывать революцию, не зная, что это такое. Чернышевский отвергал христианскую и даже облегченную буржуазную мораль, проповедовал «антропологический материализм», концепцию «разумного эгоизма», отрицал существование свободы воли, выступал против брака и семьи в пользу свободного сожительства мужчин и женщин... Добролюбов страстно призывал революцию, учился в Нижегородской духовной семинарии, а затем проповедовал антихристианские взгляды...

Да, Аннинский не говорил об имяславии, семиотике, отвлеченной эстетике, как Лосев, Флоренский, Бердяев... Работая над философией свободы, он был конкретнее и теплее. Его мысли перекликаются, отчасти, с творчеством народоведа Гачева, с позицией Розанова, если представить, конечно, что Розанов оставил темы пола, сионских мудрецов, жертвоприношений... Многие вопросы, поднятые Розановым, Аннинского тоже интересовали, но без юродства, без розановского запаха спермы и крови.

Ещё мне жаль, что Аннинский мало написал о своих встречах с Чичибабиным, Евтушенко, Слуцким, Окуджавой, Рубцовым... Когда он это делал, получалось захватывающе интересно: *«Евтушенко... что это был за мальчик со станции Зима — порождение невероятных смесей: немецкая, прошедшая через Латвию, кровь, — с одной стороны. Украинская — с другой. Потом в Сибири все перемешалось — два деда в ссылке. В 1949 Евтушенко напечатал свои первые стихи. Представьте. Все оцетинены ненавистью, только что была война, ищут классовых врагов. Всякая попытка говорить с людьми по-доброму — это вызов. Нарушение табу... а тут идет этот юродивый, этот мальчик с шарманочкой: «Граждане, послушайте меня...» И всех любит, и со всеми заговаривает... Мне знакомство с ним просто мешало. Масса ненужного сора мешала мне видеть ту историю, которую я в нем чувствовал...»*(3)

В советское время Аннинского я не видел, но после «перестройки» он был везде — в журналах, газетах, на телевидении, в институте, на литературных чтениях, праздниках и семинарах. При этом он продолжал возить с собой Александрю Николаевну. В течение двух-трех месяцев они могли побывать в Гданьске, Питере, Твери, Ясной Поляне, Казани, не говоря уже про подмосковные города... Аннинский торопился многое успеть, понимая: *«...главный критерий — время, и конец жизни — это итог. Оборачиваемся — а всё, финал, больше ничего не сделает человек...»*(3). К 1990-м Аннинский стал философом, толкователем жизни, позволяя себе высказываться на любые темы. Он мог поговорить и о политике: *«Сталин, конечно, тяжелый случай, но Сталин — меньшее зло, чем Гитлер. И пойдите все от меня прочь с этими воплями, что он не так воевал! Попробуйте в той ситуации повоевать лучше... Попробовали бы вы перевоевать... Понимаете, судить надо по законам большой войны, а не потому, как в ресторане ссорятся люди... законы большой войны кровавы. Не дай вам Бог дожить!... Николай Второй был добрым человеком и проиграл Первую мировую войну. Сталин был злой и выиграл...»*(3) Но главной темой его размышлений оставались русская литература и русская интеллигенция, с их страстями, заблуждениями, прозрениями, ненавистью и любовью: *«Русская интеллигенция... была религиозным орденом с отсутствующим Богом. И смысл свой она обрела в революции. А революция — что же, очередная химера? Да, очередная химера... Когда я чувствую, что я должен моим детям и внукам сказать, в чем смысл их жизни, я говорю: страдайте с любовью, и, может, вам откроется...»*(3)

Их жизнь пошатнулась летом 2008 в Гданьске — Александру Николаевну там в гостинице потеряла сознание, ударилась головой, упав с крутой лестницы. Ишемический инсульт случился перед падением или в результате его, врачи так и не поняли. Аннинские любили ездить с Лолой Звонаревой в Гданьск, к пану Мареку, с поляками есть о чем поговорить, они умны, интеллигентны, очень близки нам, если не поражены патологической русофобией.

Немного подлечившись, Аннинские приехали на писательские чтения в Ясную Поляну осенью 2008. Прежней Александры Николаевны уже не было. Она как будто снова оказалась в детстве. Когда писатели обедали в ресторане, она не могла съесть свою порцию и оставить тоже не хотела, делилась то с Аннинским, то со мной. Иногда она останавливалась среди комнаты, забывая куда идет. Постоит немного и снова засемене-

нит слабыми ножками. Как врач я хорошо понимал, что это конец. Мы сидели как-то на диванчике, молчали, ожидая Аннинского, сердце моё разрывалось от жалости. Я говорил ей, что бесконечные перемещения в старости — отчасти неплохо: в поездках другая еда, вода, экология, в Москве трудно выжить не выезжая... (11)

Но перемещения не помогли, к 2009-му Александра Николаевна стала ещё слабее. Аннинский бодрился, ел по утрам свою гречку с кефиром, на писательских чтениях сокрушался в разговоре со мной, что его дочери не такие плодovitые, как жена — «...прошел рядом, и она уже беременна», — я надеялся, что наше блаженное писательское братство под Веймутовой сосной всё же сохранится ещё долго. Аннинский в 2009-м, как водится, давал интервью. Петкевич, в детской панамке, плясал под гармошку. Лихоносов пронесился мимо с большой фотокамерой. Курбатов, Личутин и Краснов пели под яблонями после дружеского застолья. Тимур Зульфикаров оповещал друзей о вечернем концерте. Саша Кузнецов показывал мне в телефоне фото добытых им щук, и счастье всё длилось, длилось. Мы шли по главной аллее Ясной все вместе, я спрашивал Аннинского:

— Говорите, Лев Александрович, что вы атеист, но с вашей головой вы не можете не чувствовать феноменальную разумность мироздания. Явно есть космический разум, мы как-то должны его называть?

— *Что-то такое есть, а точнее определить трудно*, — отмахивался Аннинский. — *Это тайна, для нас пока не познаваемая. Существует несколько доктрин — иудейская, мусульманская, христианская, индуистская, буддийская, — там везде много условностей, люди попадают во власть к этим условностям и начинают воевать между собой...*

— Вас тут спрашивали про «Семнадцать мгновений»?

— *Юлиан Семенов как-то привез меня к себе, его жена накормила меня и мы начали философствовать. А я тогда много читал религиозной философии — Бердяев, Ильин, Розанов, Флоренский... Был набит цитатами, Юлиан просил диктовать и записывал все это. Потом это вышло сначала в романе, а затем появилось в фильме, там мои мысли проговаривает пастор Шлаг.*

Меня отгесняли телевизионщики, они не давали Аннинскому отдохнуть:

— Есть ли сейчас в России литературное сообщество?

— *Есть, но писатель перед Богом всегда один. После, когда он уже напишет, он может искать себе друзей, какую-то группу, но самое важное происходит, когда он один перед листом бумаги. Почему наша свобода так разрушительна? В России свобода воспринимается людьми, как воля. А это разные вещи. Воля делать все. Что захочу, даже самое злое и жестокое...* (11)

В 2010 Александра Николаевна в Ясную не приехала. Лев Александрович как будто смирился с происходящим, он и раньше подчеркивал свой фатализм: «*Считают меня то ли циником, то ли скептиком... Ну, а уж Петрушкой-то точно. А я нормальный русский... не пессимист, не оптимист, а... фаталист...*» («Дело». Интервью Елене Скульской. Санкт-Петербург. 18 июня 2007). Но это было лишь внешнее спокойствие, они с дочерью делали всё, что могли — доставали редкие и дорогие лекарства («окатинол»), Александру Николаевну консультировали лучшие врачи, но сделать было ничего нельзя. У Александры Николаевны исчезали память, координация, способность активно мыслить, оставалась лишь доброта. Лев Александрович продолжал писать новые книги, преподавал в ИЖЛТ и Московском международном университете, сотрудничал с журналами, давал бесчисленные интервью, входил в редакционный совет «Юности», в жюри литературной премии «Ясная Поляна»...

Он использовал своё влияние, чтобы защищать классическую русскую культуру. Делал он это со рвением Дон-Кихота: «*Мое поколение*

— Аксенов, Трифонов, Тарковский, Прасолов, Жигулин, Корнилов, Евтушенко, Рождественский, — уходит из литературы ... новые имена есть, но нет литературного процесса как такового. Писатели разучились ставить серьезные вопросы, современная проза зачастую превратилась в литературный продукт, предназначенный для легкого, бездумного потребления. Вдумчиво читать книгу — это серьезная работа, далеко не все к ней готовы... Весьма красноречив тот факт, о чем пишут самые яркие представители молодого писательского поколения. Пелевин воспекает наркоту, Сорокин — экскременты. Ясно, что у такой литературы с деструктивным началом нет будущего...»(3) «Россия как была много веков между восточными и западными жерновами, так и осталась. Сохранится ли русская культура как культура, которая сблизает десятки народов? ... что будет с человечеством? Оно сегодня не знает, как устроить свою жизнь со смыслом. Смысл жизни исчез. Остались только цивилизация, потребление, соотношение сил, расчет, политкорректность... Все это, конечно, необходимо, иначе мы просто кончимся. Но смысл исчез. Обретем ли мы его снова?» («Российская газета» 11 июня 2009).

Он «за волосы» тащил молодых читателей от Пелевина, Сорокина к Толстому и Чехову, советовал в безвременье спасаться русской классикой: «Советской действительности чеховские герои были чужды... Чехов, с его интеллигентным пенсне и мягкой усмешкой всем своим видом заявляет: я в этих ваших гадостях не участвую... он стал спасительной отдушиной для интеллигенции. Сегодня, когда властителями душ просвещенного общества стали постмодернисты Сорокин и Пелевин, чеховские мотивы вновь приобретают особое значение...»(3) «Надо читать свою национальную классику. Надо знать эту ниточку, по ней надо пройти: Пушкин-Лермонтов-Тютчев-Некрасов-Фет-Маяковский-Пастернак-Ахматова-Цветаева... Свой национальный код надо знать. Надо знать, как погибла Анна Каренина. И знать, почему она погибла. Великого писателя можно познавать так же бесконечно, как и Евангелие...»(3)

При упоминании Марининой, Акунина, Ерофеева он с трудом оставался корректным: «Мне интересна была Маринина в той степени, в какой она — классный научный сотрудник, разработчик методик для органов внутренних дел, бывшая их мозговым центром, спокойно излагает всю эту фактуру... С чисто литературной точки зрения оценивать это глупо... когда я читаю Достоевского, мне открывается бездна, новые миры, новые повороты, я не знаю, что он мне ответит. Когда я читаю Маринину — я знаю, что она мне расскажет... То же самое делает Акунин... это — глянцева словесность... это — искуснейшая имитация... Но у Акунина серьезных задач нет вообще. Он стилизует все, что угодно. Но на черта мне его стилизация, если у меня есть оригинал?... Весь этот литературный хаос сейчас — это бесперспективно, должно родиться что-то совершенно новое. Ниши заняты разбитными постмодернистами: Ерофеевым, Пелевиным и Сорокиным, их задачи абсолютно отрицательные. Но сегодня они — властители дум, поэтому литература, которая пытается наблюдать жизнь, задвинута... ренессанс хильей... он неорганичен, он лишь реакция на отсутствие большой литературы...»(3)

Он успел напоследок сказать многое: «Я ношу в себе ужас бытия и все время хочу понять, что произойдет дальше. Постоянно думаю о том, что меня окружает, о происходящих событиях, обо всем, что увидел или прочитал. Для меня прочитать книгу — все равно, что поставить ее в аэродинамическую трубу, где вздуваются тайны. Я терпеть не могу судить и оценивать чужие тексты».(3) «Великая культура рождается через великое страдание. Иначе происходит нормальное обслуживание читателя, что делает обычная беллетристика... Все великие творцы жили так, потому что их душа ищет нечто, способное заклясть тво-

рящийся ужас... Великие чувствуют разверзшуюся бездну...»(3) «Отчаяние охватило русских людей после того, как они прошли через унижения на глазах у всего мира. Огромное количество людей чувствует озлобленность, внутреннюю готовность все спалить...»(3) «Сейчас есть замечательные прозаики, нет литературного процесса. Должна быть критическая масса чтения. Тогда есть ощущение того, что ты на что-то влияешь, чему-то сопротивляешься... Тогда это интересно. Как же хорошо, когда была цензура, и все, что ты пытался сделать, вызывало дикий протест! Сейчас же все можно. Но неохота...»(3)

Осенью 2011-го Александра Николаевна пришла в музей Толстого, где долго работала, попрощалась со всеми... и ночью умерла на руках у Аннинского. Я не мог представить, как Лев Александрович перенесет это. Вспоминал строку из его «семейной хроники»: *«Воздух жилдома пронизан влюбленностями... любви до гроба не получилось ни у кого... все были влюблены без взаимности».*(4) У Аннинских это получилось, они сохранили любовь до гроба, Лев Александрович сильно сдал после её смерти, в 2011 на толстовские чтения не приехал, я навещал его дома. Он был растерян и подавлен, пустота у него в квартире и жизни образовалась невосполнимая. Александра Николаевна, даже больная, оставалась центром большой семьи, создавая вокруг себя удивительно теплый и добрый мир. Когда она умерла — центром семьи стала Мария Львовна, старшая дочь Аннинских. Мне кажется, Льву Александровичу было тяжело смириться с новой ролью семейного дедушки, эта роль не благоприят творческой жизни. А у Марии Львовны, вдобавок, оказался властный характер, Аннинский будто снова оказался в детстве, рядом с матерью. Наверное, ему опять захотелось сбегать в любовь, в отношения мужчины и женщины, привносящие элемент свободы.

Может быть, я ошибаюсь, но в 2013-м Лев Александрович появился в Ясной Поляне с молодой женщиной. Ей было на вид менее 30, армянская кровь, энергия и свежесть молодости. Увидев их вместе, я был поражен, вспомнил наш давний разговор. Однажды приехал к ним с женой, мы были ещё молоды, Аннинский полушутя сказал — в отличие от меня, он *«любит некрасивых женщин»*, с ними меньше хлопот, с красивой измучаешься от ревности. Теперь он изменил своему правилу! Я решил поговорить с девушкой на аллее в Ясной Поляне, узнал, что она приехала из Еревана, хочет заниматься большим искусством и потому её раздражают мои вопросы про Армению. Я был в растерянности, а Лев Александрович волновался, он ревновал её!

Я решил, что лучше отойти в сторону. Было понятно, что их союз обречен, время неумолимо, но для стареющего писателя такой союз вполне допустим, ведь он принесет в жизнь новые книги! Мне вспомнилось сватовство семидесятилетнего Гёте, две молодых жены Анатолия Кима, ещё с десятков поздних влюбленностей известных писателей... Я понимал, что эта девушка — лишь муза, позволяющая Аннинскому продолжать творить, что в старости иногда неизбежны сильные стимуляторы, не надо учителя судить. Благодаря девушке учитель снова бодр, вернулся в Ясную Поляну, пишет новую книгу. А она? Как я понял, девушка с детства мечтала о сцене, ей нравилось быть в центре внимания, Аннинский ей это вполне обеспечивал. В каком-то смысле это был взаимодополняющий союз, почему нет?

Аннинский пережил свой последний творческий взлет, прислал в Ясную Поляну великолепное эссе о философских поисках Толстого: *«Мы теперь неустанно всё совершенствуем: систему образования, академическую науку, культурную политику, промышленную обработку сырья, ценообразование... Но что за сверхзадача?... Мы помним, что надо учиться, но не очень понимаем чему. Мы зовем друг друга совершенствоваться, но в цель совершенствования не вникаем. Жить лучше? Конечно. Веселее? Пожалуй... А потом? В войну было страшнее и проще: надо было выиграть войну... Иначе смерть... А теперь? Грозит*

гибель? Вроде нет. Но тревога не отпускает. Чувствуется, что мир переживает переходное состояние, но куда оно ведет? Где мы, страна, народ, окажемся, когда новое состояние мира определится, и мы ли это будем?... мыслители разных исповеданий по-прежнему пытаются сгладить границы верований и обезопасить их контакты, выискивая в священных текстах перекликающиеся мотивы, однако непримиримость обнаруживается... в народных массах, не готовых мирно притираться друг к другу религиозными боками. Ислам и иудаизм отгораживаются стенами и враждуют так смертельно, как и вообразить нельзя было во времена Агари и Измаила. Северная Африка залита кровью: сводят счеты христиане и мусульмане. Горят предместья Парижа, захваченные исламскими переселенцами... Террор сопровождается несущимися со всех сторон воплями о Всевышнем... Как сохранить себя нам, русским, в этой мировой драме бытия? Чем держаться? Чему довериться? Во что верить? Выбор небольшой — отсюда нынешнее стремление наших людей к церкви... хотя бы вокруг неё — сплотиться. Не потерять единства, не распасться, не исчезнуть... говорю это как нараскаянный православный атеист советского разлива, не мыслящий себя вне России... Все люди никогда не удержатся в рамках одного объединяющего их всех учения. Это невозможно из-за непосильной разницы условий жизни. Возможно лишь сосуществование... Чтобы это выдерживать, нужна в базисе вера — простая, ясная и твёрдая...»(9) Он соглашался, что нам нужна вера! Он это, быть может, не сердцем, но своим громадным умом понял, я был счастлив от этого.

С 2012 по 2014 продолжался его последний плодотворный — в счастье и творчестве, — период жизни. Я и раньше видел, что Аннинский чувствовал себя моложе паспортного возраста, но тут была казуистика, не зря он десятилетиями моржевал, бегал трусцой, ел по утрам кефир и гречку... В пятьдесят пять лет у него фигура была как у Шварценегера, я видел на фотографии. Он превзошел мужской бодростью даже феноменальных Тимура Зульфикарова, Анатолия Кима, Андрона Кончаловского! В свои восемьдесят лет учитель напряженно работал, был отчаянно влюблен, путешествовал с любимой девушкой, готовил новую книгу («Откровение и сокровение» 2015). Вот что значит любовь и хорошая генетика, говорил я себе, мне и в сорокалетнем возрасте было тяжело выдерживать его нагрузки. Аннинский мне часто говорил, что до семидесяти пяти «не чувствовал усталости». В его интервью я после снова нашёл эту цифру: «В семьдесят я себя ощущал на шестьдесят, в шестьдесят — на сорок, в сорок — на двадцать. Но когда мне стукнуло семьдесят пять, я ощутил барьер. Внутренний возраст я и тогда практически не ощущал, а физический начал давать о себе знать...»(3)

На всякий случай я перестал навещать Аннинского — вдруг буду мешать, пусть он будет счастлив. К тому же Аннинский сказал, что его младшая дочь, Настя, живущая в квартире на Удальцова, родила ребенка — гости в такой ситуации нежелательны. Но всё же мне хотелось его увидеть, поэтому в апреле 2014-го я поехал в Москву на творческий вечер, посвященный его 80-летию.

Коронавируса в Москве ещё не было, Новый Арбат сверкал и блеснул огнями. Я смотрел на кипящий новый Вавилон, думал о Восточной Украине, где с февраля гибли люди. Участников юбилейного вечера было немного — Линник, Лола Звонарева, несколько учеников и с десяток незнакомых мне московских писателей. Аннинский казался веселым, он первым делом представил свою девушку как преданную ученицу, красавица сыграла на музейном рояле Шопена и убежала в театр. Аннинский пытался говорить о главном, но московские писатели сбивались на мелкие темы: был Пушкин потомком эфиопа, или его предок, Ганнибал, служил комендантом в Ревеле? Аннинского интересовало другое. Что с нами происходит? Почему мы такие злые? Как человечеству удержаться от новых падений?

Девушки-студентки просили рассказать, как он снимался в «Подкидыше».

— Вы там смешной! — говорила одна из них. — Вы там хотите стать пограничной собакой!

— А в старости я и стал ею, — смеялся Аннинский. — Я охраняю границу между мирами евреев и русских. По матери я еврей, а по отцу русский. Я не хочу, чтобы наши миры ссорились. У каждого своя правда, но мне хочется, чтобы эти правды не кровянили друг друга. Иногда они все же шибаются, и тогда задача людей культуры извлечь из этих столкновений смысл. Чтобы столкновение идей вылилось не в погромы, не в фонтаны крови из простреленных голов, а в книги. Мне кажется, на планете есть всего три мессианских народа: евреи, немцы и русские. В конце двадцатого века мне показалось, что русские не выдержали своего мессианства, кишка оказалась тонка. Я считал, что Россия превратилась в обычное государство, где люди думают, как и положено, прежде всего о марке своей машины, об отпуске и «евроремонте». Может быть, для народа это было бы и неплохо — можно спокойно растить детей, путешествовать, а имперские и вселенские задачи пусть, надрывая себе пупы, решают другие... Но сейчас, кажется, русские опять взялись за старое. Вот как в случае с Украиной: русские снова пошли против мира, против немецкого имперского проекта — Евросоюза. Против американского имперского проекта... Немцы уже пытались объединить народы Европы при Гитлере военными методами — потерпели страшное поражение. Теперь они пытаются действовать через экономику. Могли бы спокойно жить в своей заново объединенной Германии, но дух экспансии в них не убывает. Евросоюз шагает на Восток новым «драг нах остен», и опять упирается в Россию, как пятьдесят лет назад!(11)

Я провожал его до метро на Новом Арбате.

— Вы считаете, что только евреи, русские и немцы — мессианские народы? А англосаксы? Разве не мессианский народ? — спрашивал я. — Они ведь построили две мировые империи!

— В их империях заправляют не англосаксы, — сказал Аннинский, убегая в нору метрополитена...(11)

Я надеялся, что он проживет в таком режиме еще лет десять, сил у него было много. Но летом 2014 случилось ужасное — любимая девушка Аннинского, кажется, после ссоры с кем-то из его домашних, выбежала из квартиры на улицу и попала под грузовик. У неё оказались раздроблены таз, сильно повреждены кисти рук, она не могла продолжать карьеру музыканта... В сентябре 2014 на чтения в Ясную Аннинский приехал без неё — сникший, раздавленный, резко постаревший. Он сидел в номере совершенно потерянный, почти не выходил, я отправился навестить его и увидел, что прежнего Аннинского нет. Эта трагедия его уничтожила! Я спросил о катастрофе на Украине, Аннинский впервые в жизни сказал, что не понимает, что там происходит. Сказал, что все его идеалы преданы, похоже, он зря работал в литературе, ничего на исправить, люди ничему не учатся... Мне было страшно слышать это, разочарование у Аннинского было несовместимое с жизнью.(11)

В 2015 на писательские чтения Аннинский не приехал. Григорий Вихров сказал, что у Льва Александровича обнаружили онкологию. Некоторое время я не мог навестить его по семейным причинам, смертельно болела Рита Александровна Толстая, болел мой отец... В начале 2016-го Аннинский перенес операцию, затем химиотерапию, вновь не приехал на писательские чтения. В сентябре 2016 я попросил его о встрече, хотел поддержать немного. Он сказал, что можно увидиться в метро. Я подумал, что дома у него маленький внук, зять, ездить туда больше нельзя.

Он сидел смиренно на лавочке в нижнем зале метро «Университет», к нему притекали толпы спешащих людей, шумели, притормаживая и

набирая ход, подземные поезда. Аннинский был неподвижен, смотрел куда-то сквозь стены. Я понимал — это, в духовном смысле, наше прощание. Возраст у Льва Александровича предельный, да ещё онкология, химиотерапия, это неизбежно разрушат его. Мы обнялись с Аннинским, немного поговорили в промежутках между шумными поездами. Он сказал, что ему не хочется жить, потому что все, ради чего работал, растоптано политиками. Я подумал, что и его последняя любовь тоже оказалась растоптана, и он вместе с нею.(11) Аннинский говорил, что после операции, химиотерапии у него сил не осталось, он должен уйти со своим поколением, а моему — надо еще пожить и помучиться... Я думал, что зря он сделал химиотерапию, надо было ещё поработать с год, сохраняя голову. А так его ждет безлюбое, вне творчества, мучительно-бессмысленное угасение... Почему так печальна жизнь?

Спустя полчаса я отдал ему подарки — яснополянский мед, тульский пряник, немного денег под видом гонорара за публикации в тульском альманахе. Вскоре за Аннинским пришла его старшая дочь, Мария Львовна, очень похожая на Александру Николаевну. Только характер совсем другой. Аннинские собирались поехать на Ваганьковское, где похоронены Коробовы и Александра Николаевна. Мария Львовна руководила постановкой новой оградки возле могил, я попросился с ними. Мария Львовна сказала, что в машине места нет. Ревели, свистели проходящие и уходящие поезда, я обнял Аннинского на прощание, что я мог еще сделать? Он был худ, седая борода всклокочена, стариковская греча на коже, выражение глаз как у побитого ребенка...(11)

Больше в Ясную Аннинский не приезжал, в кудуарах говорили, что у него деменция. Мне не хотелось видеть его таким, я решил, что лучше запомнить его прежним. Аннинский, в своем новом состоянии, не понимал, что портит себе литературную репутацию продолжением работы. Он зачем-то написал откровенно хвалебную статью о Переверзине, литературный народ стал говорить, что Аннинский сошел с ума. А он просто умирал. Наверное, ему нужны были деньги, чтобы лечить свою несчастную девушку, чтобы оплатить химиотерапию себе и Марии Львовне, у неё тоже нашли онкологию! Она умерла раньше отца, я не мог представить, как это всё пережить! Если только уповать на стариковское спасительное бесчувствие.(11) Аннинский, стоя на грани земного существования, все же продолжал работать! Он успел написать несколько статей на тему «Троцкий не еврей» — и потому евреи не виноваты в русской революции. Бронштейн — это фамилия его отчима, евреи почти все из России уехали, хватит им пенять, здесь остались те, кто любит Россию больше своей национальности...

Я не мог не поехать на прощание с ними в сентябре 2018. Григорий Вихров и Евгения Михайловна Брешко-Брешковская, поселившись в Москве, организовали вечер памяти Александры Николаевны. В музее Толстого на Пречистенке людей было немного, даже Евгения Михайловна не приехала — микроинсульт. Григорий ходил медленно, аристократично опираясь на большой зонт — у него болели ноги. Я тоже хворал, мы с Григорием на глазах превращались в стариков, а учитель наш умирал, как же время летит стремительно! Лев Александрович был бледен, худ, слаб, говорил нечетко: *«В самый последний день, вечер... я не знал что он последний... Шурочка пошла с нами, она прощалась здесь по улице и пришла сюда в музей... мы тогда собрались все, чтобы попрощаться... а утром Шурочка проснулась в слезах и умерла на моих руках...»* Об Александре Николаевне рассказывали дочери, внучки Аннинских, на экране менялись семейные фотографии, где они за столом с друзьями. Когда я подошел обнять Льва Александровича, он был уже нездешним.(11)

Лев Александрович умер 6 ноября 2019 в 4 часа утра. Прощались с ним в Малом зале ЦДЛ, его высохшее от болезни тело сожгли в крематории на Хованском кладбище. Лично мне больно, что его косточки не положили к Александре Николаевне. Хотелось бы прийти на могилу, по-

говорить с ними... Впрочем, с Аннинским и сейчас легко разговаривать, его душа успела щедро запечатлиться в книгах, интервью, в памяти учеников, которые продолжают любить его. Я тоже его люблю. Когда гляжу в небо и думаю о нем, хочется верить, что мы там ещё увидимся. А пока можно читать Аннинского: *«Я делю историю на циклы по 12 лет с 1801 года... Раз в 12 лет рождается поколение, которое вырастает в других условиях. За 12-15 лет жизнь меняется так сильно, что люди из разных поколений имеют на себе какую-то печать, они чем-то отмечены... 1930 — очень важный год: окончательный слом старой России, начинает рождаться поколение, которое не погибнет на войне и будет определять жизнь послевоенной России... 1991-1993 — слом СССР, путч, расстрел Парламента. Что произошло в 2002-2003 пока непонятно, мы об этом узнаем позже...»*(3)

2019-2020

1. Лев Аннинский. «Liberte, Egalite, Fraternite...». «Время и мы», №141, М., 1999
2. Альфред Кох. «Обанкротившаяся страна». «Время и мы», №143, М., 1999
3. Интернет-страница: anninsky.ru
4. Лев Аннинский. «Жизнь Иванова». М., 2003
5. Лев Аннинский. «Шестидесятники и мы». М., ВТПО «Киноцентр», 1991
6. Лев Аннинский. «Серебро и чернь». Тула, «Шар»
7. Лев Аннинский «Три дочери Залмана». М., 2002
8. Л.А.Аннинский и А.Н.Аннинская. «Слобода и центр». М., 2007
9. «Международные яснополянские писательские встречи 2013». Лев Аннинский. «Разум и смысл». Тула. 2014
10. Аннинская А.Н. «Дом в Леонтевском». М., 2006
11. С.Овчинников. «Дневники» (не опубликованы)